

Ахадов Проза Стихи  
Богатков Назаров  
Немтушкин  
Итин Аксенова Солнцев Проза  
Назаров Стихи Публицистика Черкасов Туров  
Успенский Чмьхало Проза Распутин  
Фантастика Абдулина Проза Неянг  
**Зазубрин**  
Стихи Черкасов  
Стихи Петров Сибирцев Путешествие Проза Федосеев Ошаров Солнцев  
**Итин** Яхнин  
Стихи Сибирцев Успенский  
**Сидельников**  
Трошев Солнцев Богатков Стихи Фантастика Сартаков  
Стихи Петров **Красноярск**  
Стихи Солнцев Сидельников Солнцев Стихи Ахадов Суворов Черкасов Черкасов  
Стихи Аксенова Публицистика Фантастика Сибирцев Стихи  
**Богатков**  
Стихи Распутин  
Стихи Чмьхало Проза Коваленко Ахадов Солнцев  
Стихи



# Владимир Вивчан ЗАЗУБРИН

# ИТИН

3  
Литературное наследие  
Красноярска



**Зазубрин В. Я., Итин В. А.**

3 16 Щепка. Страна Гонгури: Повести / В. Я. Зазубрин, В. А. Итин. – Красноярск: ИД «Класс Плюс», 2016. – 164 с.

ISBN 978-5-905791-47-5

В настоящем сборнике представлены две повести русских советских писателей В. Я. Зазубрина «Щепка» и В. А. Итина «Страна Гонгури». Одновременно жившие и работавшие в Канске в начале 20-х годов XX века, они заложили основы литературных жанров нового советского государства: психологического реализма и фантастической утопии. После переезда в Новониколаевск (ныне Новосибирск) оба работали в журнале «Сибирские огни», в том числе главными редакторами, стояли у истоков создания Сибирского союза писателей. Произведения данных авторов антагоничны только на первый взгляд, если не понять, что оба объединены общим пацифистским пафосом. При этом прослеживается прямое влияние творчества Зазубрина на творчество Итина. Их произведения высоко оценивал Максим Горький. Однако оба всё же не смогли встроиться в советское государство и погибли в результате репрессий 30-х годов.

Издание осуществляется  
при поддержке  
государственной  
грантовой программы  
Красноярского края



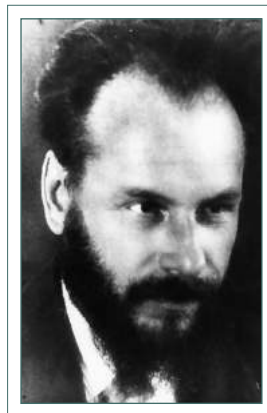
ISBN 978-5-905791-47-5

© Оформление, составление  
ИД «Класс Плюс», 2016

## ОБ АВТОРАХ

**Зазубрин (Зубцов) Владимир Яковлевич** (1895–1937) – русский писатель. Родился в Пензе 6 июня 1895 года в семье железнодорожного служащего. Отец писателя Яков Николаевич Зубцов активно участвовал в событиях первой русской революции и даже был выслан в 1907 году из Пензы в Сызрань под гласный надзор полиции. Поэтому с самого детства будущий писатель имел реальное представление о революционной деятельности.

В конце 1912 года, будучи учеником пятого класса Сызранского реального училища, он становится организатором нелегального ученического журнала «Отголоски». Через год устанавливает связь с сызранскими социал-демократами, становится одним из руководителей местных большевиков. В 1915 году Зубцова исключают из последнего класса реального училища и арестовывают. В конце 1916 года Сызранский комитет РСДРП(б), настороженный частыми арестами своих товарищей, направил Зубцова «на работу» в охранку для того, чтобы предотвратить дальнейшие провалы.



Вплоть до марта 1917 года, выполняя директиву комитета, Зубцов прослужил в жандармском отделении. В августе 1917 года был мобилизован в армию и оказался в Павловском юнкерском училище, где примкнул к училищному ревкому. Октябрьские события встретил в Петрограде. С февраля 1918 года он снова в Сызрани. Начало мятежа белочехов и установление власти Уфимской директории приводят его как «бывшего юнкера» в Оренбургское военное училище, которое вскоре эвакуируют в Иркутск. В июне 1919 года по окончании училища Зубцов назначается командиром взвода 15-го Михайловского стрелкового добровольческого полка, состоящего из рабочих пермских заводов. Подпоручик Зубцов сумел убедить солдат и офицеров своего и соседнего взводов перейти на сторону красных. Прихватив с собой артиллерийское орудие, они прорвались сквозь сторожевое охранение и присоединились к тасеевским партизанам, с которыми Зубцов входит в город Канск. Здесь он занимается выпуском газеты «Красная Звезда». Начинается литературная деятельность Владимира Зазубрина.

Из его произведений в первую очередь следует назвать роман-хронику «Два мира» (1921) о разгроме колчаковцев. В 1923 году Зазубрин написал повесть «Щепка» о работе ЧК и красном терроре. Основой повести послужили беседы автора с сотрудниками ЧК, непосредственными участниками и исполнителями красного террора в Сибири. Повесть была опубликована только в 1989 году. Следующее произведение «Общежитие» (1923) было подвергнуто разгромной критике Г. Лелевичем: «У нас не было еще такого позорного, отвратительного, слюнявого пасквиля на революцию, на коммунистическую партию».

В журнале «Сибирские огни» Зазубрин проработал ответственным секретарем шесть лет – до 1928 года, участвовал в становлении советской литературы в Сибири. Он много ездил по региону, стягивал для работы в журнале писателей и поэтов со всей Сибири.

В 1928 году входил в редакционную коллегию новосибирского журнала «Настоящее». В том же году был исключен из ВКП(б) за участие во внутрипартийной оппозиции.

С 1928 года до конца жизни Зазубрин работал в Москве, в Гослитиздате и журнале «Колхозник». Здесь же был написан и опубликован в «Новом мире» (1933), а через год отдельным изданием его роман «Горы» о коллективизации на алтайском материале. С 1934 по 1936 год – редактор литературно-художественного отдела журнала «Колхозник».

В 1937 году Владимир Яковлевич и его жена Варвара Прокопьевна были арестованы органами НКВД за принадлежность к диверсионно-террористической организации правых.

28 сентября 1937 года писатель был расстрелян. Реабилитирован посмертно в 1957 году.

**Итин Вивиан Азарьевич** (1894–1938) – русский, советский писатель, своеобразный и многогранный, неутомимый путешественник и исследователь, человек удивительной судьбы. Родился в Уфе в январе 1894 года в православной семье.

Итин прожил насыщенную событиями жизнь. Он еще до революции поступил в психо-неврологический институт в Петербурге, а затем, в 1913 году, на юридический факультет Петербургского университета.

После Октябрьской революции начал работать в Наркомюсте – со времени возникновения комиссариата. В 1920 году его назначили временно исполняющим должность заведующего губернским отделом юстиции в Красноярске. «Это был первый оседлый год, считая с октября 1917 года, – вспоминал Итин. – В «Красноярском рабочем» я редактировал «Бюллетень распоряжений». В Красноярске были поэты. Я стал редактировать еженедельный литературный уголок, называвшийся «Цветы в тайге». Кажется, именно в «Красноярском рабочем» было напечатано первое мое стихотворение».

Так же самозабвенно работал Итин в Канске, куда его «перебросили» из Красноярска. В Канске, писал он впоследствии, «я был одновременно завагитпропом, зауполитпросветом, завуроста, редактором газеты и председателем товарищеского суда». Здесь увидела свет первая книга Итина. В 1922 году вышла повесть «Страна Гонгури», которая оказалась первым произведением советской литературы в жанре фантастики. «Гиперболоид инженера Гарина» А. Толстого появился на несколько месяцев позже повести молодого писателя-сибиряка.

К антивоенной теме обратился Итин и в повести «Урамбо» (1923), показав, что война несет страдания и гибель людям труда независимо от их национальности и неслыханные барыши тем, кто греет руки на крови и слезах миллионов.

А в 1926 году публикуется повесть «Каан-Кэрэдэ», навеянная впечатлениями писателя от агитполета по Горному Алтаю, в котором он принимал участие в 1925 году. Эта повесть только печаталась, когда ее автор уже работал в комитете Северного морского пути и собирался в полярное плавание. Он участвовал в гидрогеографической экспедиции в Карское море, совершил путешествие по Енисею – до впадения его в океан.

Летом 1929 года Итин на борту ледокола «Красин» дошел Северным морским путем до Ленинграда. Об уникальном путешествии писатель поведал в книге очерков «Выход к морю»; «северную тему» он разрабатывал в ряде очерков, в повести «Белый кит», в неоконченном романе «Чистый ветер». Многие ученые и полярные летчики отмечали, что произведения Итина о Севере – не только заметный факт художественной литературы, но и труды, имеющие несомненное научное значение. Велики заслуги писателя в пропаганде и отстаивании идеи Севморпути, которая оспаривалась сторонниками прокладки железнодорожного полотна вдоль северного побережья страны.

В начале 30-х годов Итин был главным редактором журнала «Сибирские огни», председателем правления Западно-Сибирского объединения писателей, делегатом Первого съезда Союза писателей. В журнале «Сибирские огни» печатаются главы его незаконченного романа «Конец страха».

30 апреля 1938 года Итин был арестован по обвинению в шпионаже в пользу Японии. Постановлением «тройки» УНКВД Новосибирской области 17 октября приговорен к расстрелу. Не позже 22 октября приговор был приведен в исполнение.

11 сентября 1956 года Вивиан Итин был посмертно реабилитирован с формулировкой «за отсутствием состава преступления».



## СПЛАВ ДВУХ МИРОВ

### **В. Зазубрину**

*Я люблю борьбу, и чем трудней, тем больше.  
И борьбу звериную люблю,  
Словно плечи, жаждущие ноши,  
Научился побеждать себя.  
Здесь борьба труднее революций,  
В главном штабе мысли, когда  
С темной кровью мысли бьются –  
Враг незримый режет провода.  
Террор ясен, и убить так просто.  
В наших душах нам нужней Чека –  
Пулей маузера в подвалах мозга  
Привоздить ревущие века.*

*А иначе на предельной доле  
Как сдержаться? Перейдя черту,  
Тангенс высочайшей воли  
Вдруг проваливается в пустоту.  
И охвачены крикливым шумом  
Бесконечных голодов и жажд,  
Сколько раз в кровянице их безумий  
Мы поскальзываемся, дрожа!..  
Жаждой радости и дрожью горя  
Беззаветно полня чрево бытия,  
Нужно пальцы чувствовать – на горле  
Своего второго Я.*

**В. Итин**

История города Канска берет начало с острога, который в 1636 году заложил казак Милослав Кольцов. Несмотря на удаленность от центра страны, Канск являлся свидетелем и участником многих знаменательных и судьбоносных событий. Расположенный на трассе, намеченной Витусом Берингом, город познал и золотую лихорадку, и слышал кандалный звон. Во время Гражданской войны Канск был одним из центров сибирского партизанского движения.

После того как история выравнилась в пользу победивших большевиков, произошла феноменальная ситуация, объяснение которой можно найти в словах нашего земляка, писателя-фантаста М. Г. Успенского: о том что после гражданской войны всегда пышным цветом расцветает культура, видимо, ей необходимы поля, добротны сдобренные перегноем. В то время в Канске сосредоточились совершенно разносторонние служители Слова. И здесь же находят пристанище оба прозаика: Вивиан Итин и Владимир Зазубрин, их творчество легло в основу большой литературы новой страны.

Тем не менее, когда литературоведение обращается к творчеству одного из них, то совершенно не упоминает другого. Детально исследующие биографию Вивиана Итина не видят в ней влияния Владимира Зазубрина, а изучающие судьбу Зазубрина умалчивают об Итине. И имеют, кстати, для этого повод. В то время когда в Канске в начале 20-х годов имеющие отношение к писательству люди так или иначе объединены, Зазубрин и Итин представляют собой как бы два полюса, находящихся друг от друга на значительном расстоянии. Яростная утопия и жестокая реальность – словно пламень и лед. Разве была возможность соединиться этим стихиям на небольшой территории маленького городка?

На первый взгляд, Зазубрин и Итин – каждый держится особняком. Причины тому – недавние бурные события в биографии обоих, приучившие не особо доверять людям, да и невероятная занятость по службе и в творческом плане. Владимир Яковлевич возглавляет армейскую газету «Красная Звезда»; Вивиан Азарьевич совмещает должности заведующих отделами агитации и пропаганды, политического просвещения, местного отдела РОСТА, редактора газеты «Канский крестьянин» и даже председателя товарищеского дисциплинарного суда. При этом оба активно пишут, активно печатаются. Оба работают над произведениями, впоследствии навечно вписавшими их имена в историю не только сибирской, но и отечественной литературы. «Щепка» и «Страна Гонгури» – произведения настолько разные, если не понять, что оба объединены общим пацифистским пафосом. Оттого можно всё же говорить о взаимовлиянии этих писателей на творчество друг друга.

Кажущаяся отдаленность, не пересекающиеся по Канску биографические сведения на самом деле говорят о том, что два больших писателя дотошно присматривались друг к другу, чтобы потом связать себя крепчайшей профессиональной дружбой. Что позже становится ясным по их совместной работе в журнале «Сибирские огни».

Еще их объединяет кратковременный столичный опыт работы в Петрограде. Однако если у Зазубрина работа в Госбанке оказалась unsuccessful – некогда ведущего игры с царской охранкой подпольщика Зазубрина кое-кто продолжал считать провокатором жандармерии, то у Итина вроде бы все складывалось удачно. Не окончив еще юридический факультет, он начинает работать в наркомате юстиции. Сложись обстоятельства как-либо иначе, в дальнейшем Итин и Зазубрин могли бы оказаться среди высших партийных деятелей.

Сейчас сложно сказать, что заставило Вивиана Итина в 1918 году выехать в Уфу. Скорее всего, его гнало разочарование. Ведь именно во время учебы в Петрограде Итин встречает свою музу – Ларису Рейснер (ту самую, что стала впоследствии прототипом главной героини «Оптимистической трагедии» Вс. Вишневского), в которую влюбляется с невероятной силой. Рейснер к тому времени, несмотря на юный возраст, уже весьма известная в литературных кругах писательница. Она не только вводит в них Итина, но передает его первую повесть «Открытие Риэля» Максиму Горькому, возглавлявшему тогда журнал «Летопись». Но на пороге первой публикации из-за революционных событий журнал закрывается, а рукопись бесследно исчезает. Нет достоверных данных, кто впоследствии переслал ту рукопись в Канск, вызвав у Итина такой прилив вдохновения, что он моментально переделал ее в знаменитый роман «Страна Гонгури».

Но тогда, в 1918-м, после несостоявшейся публикации запутавшийся в чувствах Итин прибывает в Уфу, откуда уже не может вырваться обратно – произошло восстание белочехов. В 1920 году, вступив в партию большевиков, он был назначен заведовать отделом юстиции в Красноярске. Одновременно в газете «Красноярский рабочий» редактировал «Бюллетень распоряжений». Там же опубликовал свои первые стихи. Где уж Итину с его мечтательностью до реализма Зазубрина? Тем более что слишком уж разными они были людьми в жизни и творчестве.

Однако есть опасность упустить очевидную вещь – не зря же появляется стихотворение Итина, посвященное Зазубрину. В соприкосновении пламени и льда одна из стихий должна покориться, и мы можем почувствовать влияние Владимира Зазубрина на текст романа «Страна Гонгури».

Во вступлении к этой книге, изданной в 1922 году, так и пишется: «Издавая в настоящее время эту небольшую книжку, Государственное издательство надеется, что ее высокие переживания дадут читателю радостный отдых и новый импульс энергии на тяжелом пути в Страну Будущего».<sup>1</sup> Предшествует этому заключительному абзацу предисловие автора, что «искусство должно существовать и передаваться другим», несмотря на перипетии истории и, как правило, «гибельную» для него среду. Не исключая нынешнюю, то есть начала 1920-х годов, «материальную нужду».<sup>2</sup> И книга вполне ответила этому послы и требованию: «искусства» в ней больше, чем «социализма», «общества», политики и т. п. Того независимого, свободного искусства, «расцвет» которого «еще впереди» – пишет автор. Ошибемся ли мы, предположив, что автором предисловия является сам Итин, который рассказывает о предыстории появления своей повести – «Открытие Риэля», принятой в печать Горьким осенью 1917-го? «Значительно поработал над ней», как пишет Итин, не значило, однако, что он поменял в повести что-то принципиальное, пошел по стопам Маяковского, славящего Коммунию и Интернационал, признаваясь в верности партии и ее вождям. О коммунах в книге сказано только один раз, Гелий вступил не в компартию, а стал «членом ревтрибунала» и в «коммунистических отрядах», видимо, толком не состоял, так как «с одним из них», читаем в повести, ушел «в тайгу». Да и Ленин в тексте упомянут и процитирован только один раз, и то в предисловии.

<sup>1</sup> Сибирские огни : художествен.-лит. и науч.-публицистич. журн. — Новониколаевск : Сиб. обл. гос. изд-во, 1922 — . 1922, № 5 : ноябрь — декабрь. — 1922 (Новониколаевск : Тип. Губсовнархоза). — 224 с.

<sup>2</sup> Итин В. Страна Гонгури. Канск: Госиздат РСФСР, 1922 г.



Тут-то и необходимо сказать о влиянии романа «Два мира» Владимира Зазубрина на «Страну Гонгури». Следы чтения Итиным этой книги можно увидеть, главным образом, в III и IV главах, где так много картин ужасов войны и ее последствий: «Металлические чудовища медленно проехали по этой массе, мешая вместе грязь, мозг и кровь»; «на трамвайном столбе медленно, как маятник дьявольских часов, качался черный труп повешенного» и т. д.

Отсюда вывод, что Итин мог не только читать «Два мира» одним из первых, но и знать автора романа, жившего в Канске с 1920 года. Сцены войны такой силы, на грани натурализма и экспрессионизма, не могли не воздействовать и на автора «Страны Гонгури», который уже начал писать «свою» Гражданскую войну, традиционную, реалистическую повесть-воспоминание. И тут вдруг приходит, неведомо откуда и от кого, рукопись его «Открытия Риэля», где еще юным Итиным зафиксирован антивоенный, против Первой мировой войны, пафос. Тут-то его, наверное, и озарило: эти два «пафоса» – против ужасов Мировой войны и войны Гражданской – объединить, тем более они так легко резонируют друг с другом. Пацифизм Итина, такой похожий на пацифизм Зазубрина, простирался и на партийную борьбу, партийные «миры» и «классы». То, что Итину претило деление людей по идеологическому признаку, мы знаем из апрельского письма Ларисе Рейснер в 1918 году: «Что теперь говорят про людей? Комиссар, большевик, контрреволюционер. Это все: пусто».<sup>3</sup>

Но минует 1922 год, и Вивиан Итин посвятит Владимиру Зазубрину стихотворение, где будет оправдывать террор, ЧК, маузер во имя победы над собой, вернее, своим «вторым Я». «Я люблю борьбу, и чем трудней, тем больше»<sup>4</sup>, – напишет он уже в первой строке, «наступая на горло» своей же «Стране Гонгури» с ее отрицанием всякой борьбы и насилия. Здесь, в СССР, нужна была четкость позиции, неразвоенное, цельное «Я», «в подвалах мозга» надо было навести порядок, «пригвоздить ревущие века», пристыдить чекиста Срубова из зазубринской «Щепки» (очевидно, ей и посвятил Итин это стихотворение) за то, что он не выдержал испытания террором, покончил не со своей развоенностью, а с собой. Итин не захотел стать вторым Срубовым: человек новой, «нашей» расы не должен делиться надвое, как в «Стране Гонгури» – на Гелия и Риэля. Сила, которая влечет в лучшее будущее, не должна быть «непонятной», как и судьба, а сердце этого будущего не должно принадлежать «разным зовущим небесам».

20-е годы станут для Итина школой избавления от этих развоенностей и «непонятностей», и потому этот Итин, мучительно встраивающийся в «расу» «напостовцев», «рапповцев», «настоященцев», менее интересен, чем Итин – гражданин страны Гонгури. Лучше запомнить Итина там, чем в СССР, где он продолжит сжимать пальцы «на горле своего Я», заземлив гонгурийские полеты Риэля до полетов на земных самолетах в повести «Каан-Кэрэд» и до покореженного «советской» правкой «Открытия Риэля» («Риэль-2») 1927 года, предприняв серию экспедиций и очерковых произведений не на Паон и Санон, а на Карское море и продолжив менять «расу» до совсем уж махрово советских стандартов, став редактором «Сибирских огней», в одной упряжке с «настоященцами», молча пропуская в печать оголтелые статьи против «зазубринщины» в начале 30-х годов. Малоинтересен Итин и как делегат съездов, оратор, функционер. И только гибель покажет весь трагизм его судьбы, которая должна была сложиться совсем иначе.

Но и для Владимира Зазубрина написанная им в Канске жестокая «Щепка» стала роковой. Она не отпускала его как минимум десятилетие. Он переписывал ее несколько раз, предлагал и в «Сибирские огни», и в «Красную новь», давал читать чуть ли не каждому известному литератору и даже, как говорят, Дзержинскому. Но до публикации она дойдет только в 1989 году, когда актуальным станет разоблачение не только Сталина и сталинизма, но и Ленина, пороков, грехов, преступлений всей советской власти. Поэтому так легко тогда это непростое, «авторское» произведение подверстали к другим, «полочным», запрещенным в советское время: «Окаянные дни», «Повесть

<sup>3</sup> Итин В. Автобиографическая справка. // ГАНУ, п-6, оп. 2, д. 1295, л. 32 об.

<sup>4</sup> Итин В. Стихи 1912-1937 гг. — Минск, Книгосбор, 2007. С. 55-56.

непогашенной луны», «Приглашение на казнь», «Чевенгур» и «Котлован», «Солнце мертвых», «Собачьё сердце» вместе с мемуарами Деникина, Краснова, Туркула и др.

Каким бы ни было справедливым такое однозначное, антибольшевистское прочтение «Щепки», оно все же не учитывает главного – личности Зазубрина, его биографии, той ситуации, в которой он оказался в год ее написания – 1922-й. А она была такова. Во-первых, Владимир Яковлевич планировал, и самым серьезным образом, продолжение романа «Два мира», который должен был вырасти, может быть, в эпопею. Запрет на изображение «белоулацких» мятежей поставил на этих планах крест. Во-вторых, приглашение работать в Москве, в «Красной нови», обязывало, пусть и подсознательно, писать «по-московски», как это удавалось сибирякам Вс. Иванову и Вяч. Шишкову. То есть образнее, словарно богаче и пластичнее. Нужен был поиск новых тем, героев, стиля.

Но чем больше он искал новизны и оригинальности, тем больше видел, что выйти из круга проблем своего понимания и видения революции и новой власти, осознания себя и своего «Я» в ней не может. И это в-третьих. «Щепка» вольно или невольно оказывалась продолжением «Двух миров», с автобиографической темой Барановского – пророка пацифизма и нечаянной жертвы противостояния этих слишком больших для «маленького человека» миров. Так в «Щепку» перешла тема «двух миров», двух текстов, двух авторов. Один текст – исповедь чекиста Срубова о своей главной любви – к революции, доводящей его до сумасшествия. Второй текст – «белогвардейский», где вчерашние палачи оказались в роли жертв, в число которых может попасть любой. Прежняя схема переворачивается, классовая правота красных, которую в «Двух мирах» ему приходилось доказывать ценой искажения главной идеи романа, теперь подвергается сомнению. К казнимым у Срубова и его поделщиков ненависти нет. Он только и делает, что доказывает: белые офицеры и их единомышленники – препятствие к лучшей жизни, мусор истории, «бывшие люди». Чтобы доказать это, надо что-то изменить в себе, переделаться, потерять человеческие дух и плоть. Стать щепкой, деревом. Потому и повесть эта – об опыте самопеределки – заканчивается трагически.

Тем временем если роман Зазубрина «Два мира» пока использовали в идеологических, агитационных целях, то фантастику Итина обвиняли в аполитичности. В ней тоже есть два мира, но они другие: узкий «мир» камеры, откуда партизана Гелия колчаковцы должны повести на расстрел, и широкий мир его фантазии о победившем коммунизме. И лишь позже, уже в «Сибирских огнях», Итин напишет пьесу-плакат «Власть» и рассказ-памфлет «Урамбо». Так что встретились канские писатели по-настоящему только на страницах новониколаевского журнала.

Можно даже сказать, как бы ни слишком красиво это звучало, что познакомил их именно этот журнал. Причем встук: именно так были помещены в № 3 «Сибирских огней» новые части «Двух миров» и «Солнце сердца» Итина – поэма о душе, которую разожгла новыми мечтами и фантазиями революция. Зазубрин же стихов не писал, это был исключительно человек прозы, реалистичной, суровой, где даже образы, аллегии, символы имели прозаический подтекст. Тем не менее они еще раз заочно встретились в 1922 году на страницах № 5 «Сибирских огней».

Публикация для автора – дело наиважнейшее, а провинциальный Канск, да и краевой центр – Красноярск не могли тогда похвастать каким-либо периодическим официальным литературным изданием. Еще до конца не отшумела Гражданская война, вначале поделившая, а затем выкосившая огромное количество жителей, включая основной пласт местной интеллигенции. Оттого интерес к канским авторам всесибирского литературного издания предопределяет их дальнейшую судьбу. В 1923 году и Зазубрин, и Итин переезжают в Новониколаевск. И чуть ли не сразу один за другим возглавляют это престижное сибирское издание. После Зазубрина именно Итин становится главным редактором «Сибирских огней».

Занимаясь критикой всю творческую жизнь, Итин писал рецензии, обзоры, обобщающие статьи. Редко какой номер «Сибирских огней» 20–30-х годов обходился без его критических материалов, касавшихся самых насущных сторон литературного процесса. В них он отличался независимостью взгляда, экспрессивностью и неизменно отстаивал мысль, что писатель обязан не просто правдоподобно отражать действительность, а пропускать картины жизни через свое

сердце. Активное участие принял Итин и в организации Союза сибирских писателей. В 1926 году он был избран секретарем его правления.

Еще одним профессиональным связывающим звеном являются отношения сибиряков с Максимом Горьким. Каждый состоит с ним в переписке, каждый получает когда одобрительные, когда не очень слова мастера и – получается – наставника. Уровень их произведений Горький настолько ценил, что задумав литературно-художественный сборник «Азия» из произведений писателей-сибиряков, в 1929 году писал одному из своих корреспондентов: «Сибирь первый раз демонстрирует пред лицом Союза Советов свои достижения в области словесного творчества. Это требует от авторов самого лучшего, что у них есть». Упомянув о слабости присланных рукописей, Горький в этом же письме спрашивает: «Не следует ли признать необходимым участие в сборнике Зазубрина, Итина и др.?»<sup>5</sup>

В пылу работы и забот постепенно наступили 30-е годы, власть требовала еще более верно-подданных произведений, еще более идеологизированной мощи, оттого в 1935 году Итина снимают с поста главного редактора журнала. В 1937 году новосибирский театр «Красный факел» принял к постановке его пьесу «Козел». Но пьесу не пропустили. Она так и не появилась ни на сцене, ни в публикации. Все чаще разили Итина стрелы недоброжелательных критиков, все злее становились на него нападки. В одном из писем Горькому он признается: «...Зависть, бюрократизм, глупость были, есть и не скоро переведутся. Литература всегда была ненавистна. Она причиняет беспокойство».<sup>6</sup> Итин был независимым и гордым человеком, что раздражало его недругов еще больше. И тучи над его головой сгущались все сильнее...

Похоже складывается и судьба Зазубрина. В 1928 году на писателя была устроена настоящая травля. Его освобождают от должности редактора «Сибирских огней» и руководства Сибирским союзом писателей. Исключают из партии. В начале 30-х он создает роман «Горы», посвященный драматическим событиям на Алтае, развернувшимся в 20-х годах: разгрому банды, возглавляемой белогвардейским офицером, а также медвежьим охотам и «третьей революции» – коллективизации. С 1934 по 1936 год работает редактором литературно-художественного отдела столичного журнала «Колхозник». Как и Итин, был делегатом Первого Всесоюзного съезда советских писателей.

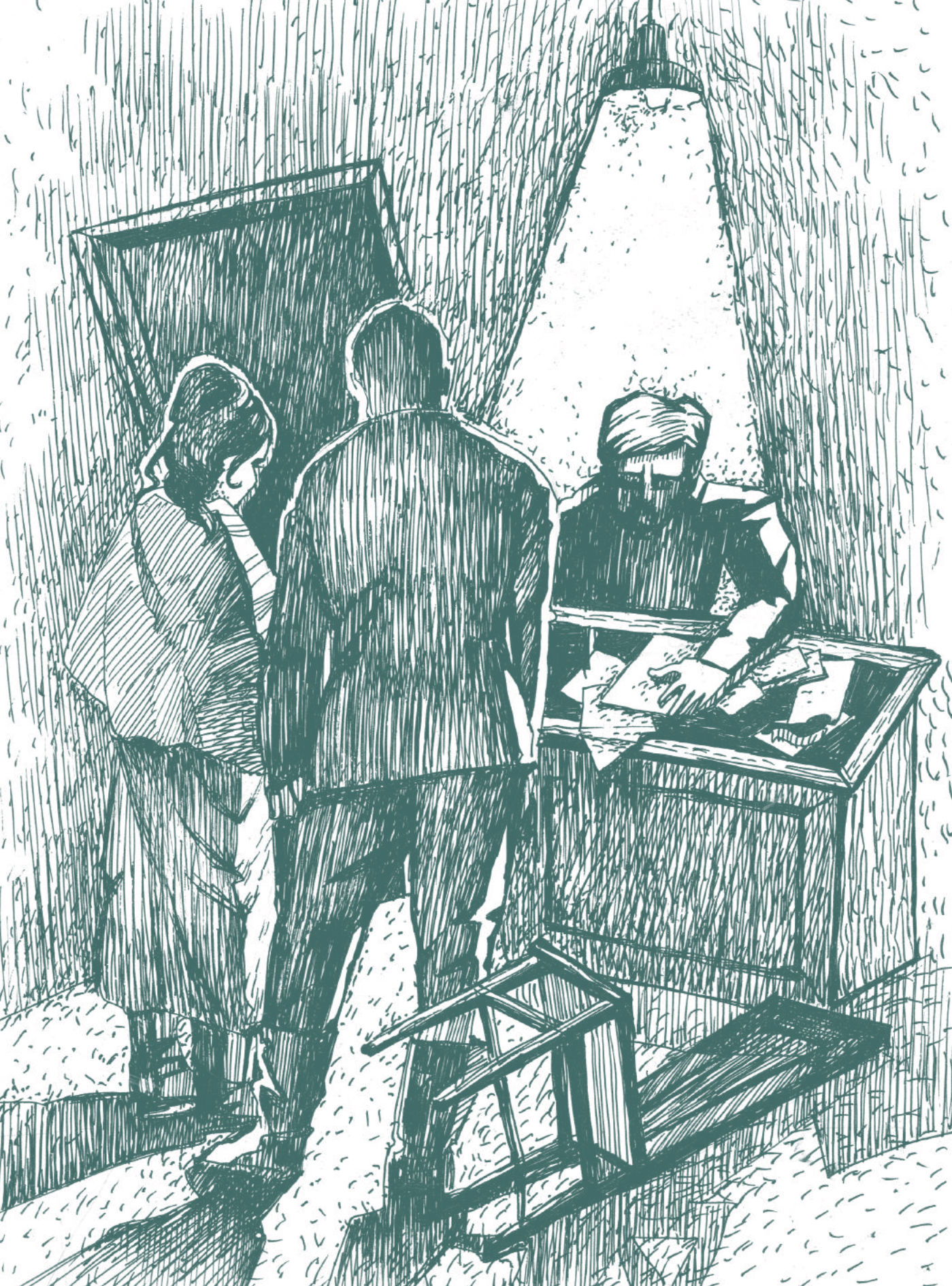
Но наступает время припомнить ему и «белогвардейское прошлое», и двойную игру с царской охранкой, и – разумеется! – антисоветский роман. В 1937 году Владимир Яковлевич и его жена Варвара Прокопьевна были арестованы. 27 сентября 1937 года талантливый писатель был расстрелян. Исчезли многие рукописи, среди которых и роман «Щепка». Машинопись «Щепки» десятилетия спустя была найдена в редакции журнала «Красная новь» с чьей-то припиской от руки, что название автор мог взять из романа Достоевского «Бесы», из монолога Верховенского-старшего... Всегда любимого писателем Достоевского...

Вивиан Азарьевич отчасти повторил судьбу своего главного персонажа – Гелия. 30 апреля 1938 года писатель был арестован по обвинению в шпионаже в пользу Японии. Постановлением «тройки» УНКВД Новосибирской области 17 октября приговорен к расстрелу. Не позже 22 октября приговор был приведен в исполнение. Место его захоронения неизвестно. Но мы-то знаем, где его искать, – в стране Гонгури...

**М. М. Стрельцов,**  
директор Красноярского регионального отделения  
Общероссийской общественной организации писателей  
«Литературное сообщество писателей России»

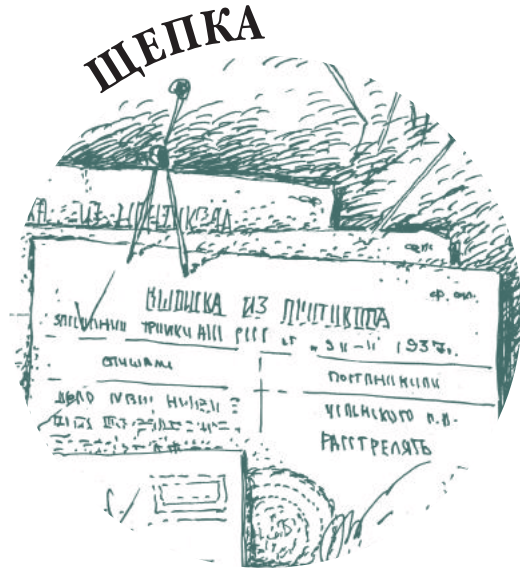
<sup>5</sup> Горький М. Полное собрание сочинений. Художественные произведения в 25-ти т. Т. 19. — М.: Наука, 1973. С. 179.

<sup>6</sup> Горшенин А. Он был искателем чудес (Романтик Вивиан Итин) // Очерки русской литературы Сибири в 2 т. – Новосибирск, 1982. – Т. 2.



# Владимир ЗАЗУБРИН

3  
Интервью с наследием  
Красноярск





## ПОВЕСТЬ О РЕВОЛЮЦИИ И О ЛИЧНОСТИ



**Валериан Павлович Правдухин**  
(1892–1938) – русский писатель,  
участник литературной группы  
«Перевал».

Возглавлял отдел литератур-  
ной критики журнала «Красная  
нива». Сотрудничал в журнале  
«Красная новь».

В августе 1937 года по обвинению  
в участии в террористической ор-  
ганизации был арестован Военной  
коллегией Верховного суда СССР,  
а 28 августа 1938 года приговорен  
к смертной казни и расстрелян.

«Страшная книга, нужная книга», – сказал В. И. Ленин, прочитав роман В. Зазубрина «Два мира».

Повесть «Щепка» не менее страшное произведение молодого художника, и можно заранее учесть те бытовые разговоры, которые могут поднять вокруг этой повести.

Но что обыватели. «Что им Гекуба?» Что для них революция? Вопрос в том, нужна ли эта небольшая книжечка человеку-революционеру, который действительно ищет новый мир?

До сих пор о революции, о терроре, о ЧК писали или убежавшие за границу представители сюсюкающих и вырождающихся поколений, или беллетристы-одиночки. Индивидуалисты, которые о революции в большинстве случаев пишут так же, как о штопанье чулок их бабушкой.

Здесь почти впервые, если не считать рассказа Радионова-Тарасова «Шоколад», где дана совершенно ложная постановка вопроса, художник-коммунист подошел к этой жгучей теме. И подошел оригинально, небывало мужественно и резко.

В. Зазубрин еще молодой художник, и многое в нем еще не устоялось, многое в его повести может быть оспариваемо и с художественной точки зрения, и особенно с фактической. Им дано в сконцентрированном рисунке такое нагромождение ужасов, которое совершенно немислимо на таком небольшом полотне – столь коротком житейском фоне.

Но в художественной литературе, в искусстве это совершенно закономерный прием; вспомним великие «карикатуры» художника Гойи и нашего великого сатирика Гоголя. Весь вопрос, удалось ли В. Зазубрину художнически осмыслить этот страшный материал, удалось ли ему влить в него органически живую идею и передать то, что он ставил своей задачей.

Есть ли в конечном счете оправдание этой небывалой дерзости? Зазубрин не сюсюкает, он не ужасается, он как художник с беспощадно-холодной внешней манерой и суровостью подходит к этой теме. С первых строк страшное нависает над героем Срубовым, с первой строки чувствуется надрыв героя, несущего свой тяжелый революционный долг.

Страшный лик революции с невольным нагромождением ужасов пишут нам и другие беллетристы: в никитинском «Рвотном фронте» мы найдем не менее страшные вещи – и насилия, и самые грязные человеческие извращения. У Никитина и у Пильняка в «Голом годе» герои-коммунисты, комиссары (то же и в «Повольниках» Яковлева) насилуют Олечек, Манечек, Ниночек и вместе с ними безнадежно падают в мешанско-похабную стихию эти на миг захотевшие быть героями люди-мещане.

У Никитина написано это в формах обмызганного, порой сюсюкающего мастерства упадочного искусства, у Яковлева – более ясно и просто, у Пильняка его ужасы оправдываются в общем ритме его «мятельной» стихии, от которой веет революцией настолько, насколько революция раздробила старые формы жизни.



В. Зазубрин делает попытку найти новую форму для изображения революции. Самый стиль, его ритм – суровый, резкий, скупой и ударный – это ритм революции. По его слову, «прекрасной и жестокой любовницы», которая уничтожила не только старый миропорядок, наше былое, индивидуалистическое прекраснотворение, но и заставляет нас жить, чувствовать по-иному, утверждает новую поступь, ритмику наших душевных переживаний. Если Достоевский в «Бедных людях», если Л. Андреев, последний индивидуалистического символизма, в своем рассказе «Семь повешенных» ставили своей задачей вызвать ненужную жизни жалость в наших душах к ненужному Янсону: претворить никчемную кантовскую идею о самодовлеющей ценности существования каждого человека, то Зазубрин, изображая совсем не идеал революционера, ставит своей задачей показать, что есть общее – грядущий океан коммунизма, бесклассового общества, во имя которого революция беспощадно идет по трупам вырождающихся ее врагов. Среди них и сильные телом, иногда духом, которые свой аристократизм декларативно или искренне стараются сохранить в тот момент, когда смотрят в лик неизбежной для них смерти, но большинство из них – «тесто», булавоочные головки, головки жаворонков, которых в детстве мать Срубова запекала в печи.

В страшной сцене расстрела, в сцене допроса, в сцене суда над следователем Ивановым Зазубрин художественно побеждает мещанство, индивидуализм, выжигая из нас оставшийся хлам мистических и идеалистических понятий в наших душах о нужности ненужных, остывших уже идей.

Но сам герой Зазубрина носит в себе эти атавистические понятия, он ранен ими, и, несмотря на громадный подвиг, который он несет до конца во имя революции, он таит эту историческую занозу. «Есть душа или нет? Может быть, это душа с визгом выходит?» – спрашивает он себя. Отсюда его трагедия и неизбежная гибель. Он мужественно встречает уход от себя мещанки-жены, падение своих сотрудников, но сам не выдерживает подвига революции – и гибнет. Гибнет во имя революции, как Моисей, которому «не дано войти в землю обетованную» коммунистического общества.

Удар по индивидуализму, по последним наслоениям оставшихся напластований буржуазной мистики и морали наносит художник, показывая эту историю героя, не выдержавшего в конце концов подвига революции.

И эта повесть, несмотря на срывы, психологические сбои, нужная и художественная вещь, несущая с собой сильную эмоциональную «встряску» дряблым, тепличным душам.

Художник ведет нас в самую страшную лабораторию революции и как бы говорит: «Смотрите революцию. Слушайте ее музыку, страшную и прекрасную, которая обнажает перед нами узкий и трудный переход русла к огромному и прекрасному океану. Смотрите на ее беспощадный кровавый меч, который своим ударом обнажает проклятие и наследие вековых блужданий человечества, социальных извращений, превративших человека или в мясо, в тесто, в слякоть, или оставивших смертельные занозы. Смотрите на революцию, которая зовет стать... мощными по-звериному, цельными и небывало сильными инженерами переустройства мира».

«Революция – не все позволено, революция – организованность, расчет», «справедливый террор»... Это не корчи героев Достоевского, которые стоят над бездной вопроса, все ли позволено. Здесь великое самоограничение личности и коллективная дисциплинированность. Здесь ясно, что позволено и что не может быть позволено.



---

Это предисловие было написано В. Правдухиным для предполагавшегося издания повести в 1923 году. Но повесть не была напечатана, поэтому и предисловие не увидело свет.

---

Здесь перед нами герой, какого еще не видала человеческая история. Здесь внутренняя трагедия этого героя, не выдержавшего своего героического подвига.

Но смысл самого подвига – ясен, цели подвига – встают живо, а главное, художник обнажает конкретно в человеке то, что ему мешает перешагнуть, наконец, границу, разделяющую старый и новый миры.

Конечно, мещане испугаются художнически-сгущенного рисунка, как они испугались, с гораздо большим субъективным основанием, раньше революции, но разве для них революция открыла широкие пути к светлым далям, к океану бесклассового общества?

И настоящему революционеру повесть Зазубрина поможет выжить окончательно из своего существа оставшиеся «занозы» исторического прошлого, чтобы стать смелым инженером неизбежного и радостного переустройства его.

Это ли не оправдание смелой попытки молодого талантливого художника?

**Валериан Правдухин**







# I

На дворе затопали стальные ноги грузовиков. По всему каменному дому дрожь.

На третьем этаже на столе у Срубова звякнули медные крышечки чернильниц. Срубов побледнел. Члены Коллегии и следователь торопливо закурили. Каждый за дымную занавесочку. А глаза в пол.

В подвале отец Василий поднял над головой нагрудный крест.

– Братья и сестры, помолимся в последний час.

Темно-зеленая ряса, живот, расплывшийся книзу, череп лысый, круглый – просвирка заплесневевшая. Встал в угол. С нар, шурша, сползали черные тени. К полу припали со стоном.

В другом углу, синяя, хрипел поручик Снежницкий. Короткой петлей из подтяжек его душил прапорщик Скачков. Офицер торопился – боялся, не заметили бы. Повертывался к двери широкой спиной. Голову Снежницкого зажимал между колен. И тянул. Для себя у него был приготовлен острый осколок от бутылки.

А автомобили стучали на дворе. И все в трехэтажном каменном доме знали, что подали их для вывозки трупов.

Жирной, волосатой змеей выгнулась из широкого рукава рука с крестом. Поднимались от пола бледные лица. Мертвые, тухнущие глаза лезли из орбит, слезились. Отчетливо видели крест немногие. Некоторые только узкую серебряную пластинку. Несколько человек – сверкающую звезду. Остальные – пустоту черную. У священника язык лип к небу, к губам. Губы лиловые, холодные.

– Во имя отца и сына...

На серых стенах серый пот. В углах белые ажурные кружева мерзлоты.

Листьями опавшими шелестели по полу слова молитв. Метались люди. Были они в холодном поту, как и стены. Но дрожали. А стены неподвижны – в них несокрушимая твердость камня.

На коменданте красная фуражка, красные галифе, темно-синяя гимнастерка, коричневая английская португеза через плечо, кривой маузер без кобуры, сверкающие сапоги. У него бритое румяное лицо куклы из окна парикмахерской. Вошел он в кабинет совершенно бесшумно. В дверях вытянулся, застыл.

Срубов чуть приподнял голову.

– Готово?

Комендант ответил коротко, громко, почти крикнул:

– Готово.



И снова замер. Только глаза с колющими точками зрачков, с острым стеклянным блеском были беспокойны.

У Срубова и у других, сидевших в кабинете, глаза такие же – и стеклянные, и сверкающие, и остротревожные.

– Выводите первую пятерку. Я сейчас.

Не торопясь набил трубку. Прощаясь, жал руки и глядел в сторону.

Моргунов не подал руки.

– Я с вами – посмотреть.

Он первый раз в ЧК. Срубов помолчал, поморщился. Надел черный полушубок, длинноухую рыжую шапку. В коридоре закурил. Высокий грузный Моргунов в тулупе и папахе сутулился сзади. На потолке – огненные волдыри ламп. Срубов потянул шапку за уши. Закрыв лоб и наполовину глаза. Смотрел под ноги. Серые деревянные квадратики паркета. Их нанизали на ниточку и тянули. Они ползли Срубову под ноги, и он сам, не зная для чего, быстро считал:

– ...Три... семь... пятнадцать... двадцать один...

На полу серые, на стенах белые – вывески отделов. Не смотрел, но видел. Они тоже на ниточке.

...Секретно-оперативный... контрревол... вход воспр... бандитизм... преступл...

Отсчитал шестьдесят семь серых, сбился. Остановился, повернул назад. Раздраженно посмотрел на рыжие усы Моргунова. А когда понял, – сдвинул брови, махнул рукой. Застучал каблуками вперед. Мысленно твердил: «...Манти-менты... санти-менты... санти...»

Злился, но не мог отвязаться.

– ...Санти-менты... менты-санти...

На площади лестницы часовой. И сзади этот зритель, свидетель ненужный. Срубову противно, что на него смотрят, что так светло. А тут ступеньки. И опять пошло:

– ...Два... четыре... пять...

Площадка пустая. Снова:

– ...Одна... две... восемь...

Второй этаж. Новый часовой. Мимо, боком.

Еще ступеньки.

Еще.

Последний часовой. Скорее. Дверь. Двор. Снег. Светлее, чем в коридоре.

И тут штыки. Целый частокол. И Моргунов, бестактный, лепится к левому рукаву, вяжется с разговором.

Отец Василий все с поднятым крестом. Приговоренные около него на коленях. Пытались петь хором. Но пел каждый отдельно.



– Со свя-ты-ми упо-ок-о-о-о...

Женщин только пять. А мужских голосов не слышно. Страх туго набил стальные обручи на грудные клетки, на глотки и давил. Мужчины тонко, прерывисто скрипели:

– Со свя-ты-ми... свят-ты-ми...

Комендант тоже надел полушубок. Только желтый. В подвал спустился с белым листом – списком.

Тяжелым засовом гроыхнула дверь.

У певших нет языков. Полны рты горячего песку. С колен встать все не смогли. Ползком в углы, на нары, под нары. Стадо овец. Визг только кошачий. Священник, прислонясь к стене, тихо заикался:

– ...упо-по-по-о-о...

И громко портил воздух.

Комендант замахал бумагой. Голос у него сырой, гнетущий – земля. Назвал пять фамилий – задавил, засыпал. Нет сил двинуться с места. Воздух стал как в растревоженной выгребной яме. Комендант брезгливо зажал нос.

Длинноусый есаул подошел, спросил:

– Куда нас?

Все знали – на расстрел. Но приговора не слышали. Хотели окончательно, точно. Неизвестность хуже.

Комендант суров, серьезен. Так вот прямо, не краснея, не смущаясь, глаза в глаза уставил и заявил:

– В Омск.

Есаул хихикнул, присел.

– Подземной дорогой?

Полковнику Никитину тоже смешно. Согнул широкую гвардейскую спину и в бороду:

– Хи-хи...

И не видел, что из-под него и из-под соседа генерала Треухова ползли по нарам тонкие струйки. На полу от них болотца и пар.

Пятерых повели. Дверь плотно загородила выход. Лязгнул люк во двор. Шум автомобилей яснее. И был похож он на стук комьев мерзлой земли в железную дверь подвала. Запертым показалось, что их заживо засыпают.

– Ту-ту-ту-ту-ту. Фр-ту-ту. Фр-ту-ту.

Капитан Боженко встал у стены. Подбоченился. Голову поднял. Под потолком слабенькая лампочка. Капитан подмигнул ей.

– Меня, брат, не найдут.

И на четвереньках под нары.

Из угла поручик Снежницкий показывал всем синий мертвый язык.



От коменданта Скачков его спрятал. А себе горло не перерезал. Вертел в руках стекло и не решался.

Маленький огненный волдырек на потолке неожиданно лопнул. Гной из него черной смолой всем в глаза. Тьма. В темноте не страх – отчаяние. Сидеть и ждать невозможно. Но стены, стены. Кирпичный пол. Ползком с визгом по нему. Ногтями, зубами в сырые камни.

Срубову и пяти выведенным показалось, что узкий снежный двор – накаленный добела металлический зал. Медленно вращаясь на дне трехэтажного каменного колодца, зал захватил людей и сбросил в люк другого подвала на противоположном конце двора. В узком горле винтовой лестницы у двоих захватило дыхание, закружились головы – упали. Остальных троих сбили с ног. На земляной пол скастились кучей.

Второй подвал без нар изогнут печатной буквой «Г». В коротком крючке каменной буквы, далеко от входа, мрак. В длинном хвосте – день. Лампы сильнее через каждые пять шагов. На полу все бугорки, ямки видны. Никогда не спрятаться. Стены кирпичными скалами сошлись вплотную, спаялись острыми четкими углами. Сверху навалилась каменная пустобрюхая глыба потолка. Не убежать. Кроме того, конвоиры – сзади, спереди, с боков. Винтовки, шашки, револьверы, красные, красные звезды. Железа, оружия больше, чем людей.

«Стенка» белела на границе светлого хвоста и неосвещенного изгиба. Пять дверей, сорванных с петель, были приставлены к кирпичной скале. Около – пять чекистов. В руках большие револьверы. Курки – черные знаки вопросов – взведены.

Комендант остановил приговоренных, приказал:

– Раздеться.

Приказание как удар. У всех пятерых дернулись и подогнулись колени. А Срубов почувствовал, что приказание коменданта относится и к нему. Бессознательно растегнул полушубок. И в то же время рассудок убеждал, что это вздор, что он предгубчека и должен руководить расстрелом. Овладел собой с усилием. Посмотрел на коменданта, на других чекистов – никто не обращал на него внимания.

Приговоренные раздевались дрожащими руками. Пальцы, похолодевшие, не слушались, не гнулись. Пуговицы, крючки не растегивались. Путались шнурки, завязки. Комендант грыз папиросу, торопил:

– Живей, живей.

У одного завязла в рубахе голова, и он не спешил ее высвободить. Раздеться первым никто не хотел. Косились друг на друга, медлили. А хорунжий Кашин совсем не раздевался. Сидел скорчившись, обняв колени. Смотрел отупело в одну точку – на носок своего порыжевшего порван-



ного сапога. К нему подошел Ефим Соломин. Револьвер в правой руке за спиной. Левой погладил по голове. Кашин вздрогнул, удивленно раскрыл рот, а глаза – на чекиста.

– Че призадумался, дорогой мой? Аль спужался?

А рукой все по волосам. Говорит тихо, нараспев.

– Не бойсь, не бойсь, дорогой. Смертушка твоя еще далече. Страшного покудова ще нету-ка. Дай-ка я те пособлю курточку снять.

И ласково и твердо-уверенно левой рукой расстегивает у офицера френч.

– Не бойсь, дорогой мой. Теперь рукавчик сыем.

Кашин раскис. Руки растопырил покорно, безвольно. По лицу у него – слезы. Но он не замечал их. Соломин совсем овладел им.

– Теперь штаники. Ниче, ниче, дорогой мой.

Глаза у Соломина честные, голубые. Лицо скуластое, открытое. Грязноватые мочала на подбородке и на верхней губе редкой бахромой. Раздевал он Кашина, как заботливый санитар больного.

– Подштаннички...

Срубов ясно, до боли чувствовал всю безвыходность положения приговоренных. Ему казалось, что высшая мера насилия не в самом расстреле, а в этом раздевании. Из белья на голую землю. Раздетому среди одетых. Унижение предельное. Гнет ожидания смерти усиливался будничностью обстановки. Грязный пол, пыльные стены, подвал. А может быть, каждый из них мечтал быть председателем Учредительного собрания? Может быть, первым министром реставрированной монархии в России? Может быть, самым императором? Срубов тоже мечтал стать Народным Комиссаром не только в РСФСР, но даже и МСФСР. И Срубову показалось, что сейчас вместе с ними будут расстреливать и его. Холод тонкими иглами колот спину. Руки теребили портупею, жесткую бороду.

Голый костлявый человек стоял, поблескивая пенсне. Он первым разделся. Комендант показал ему на нос:

– Снимите.

Голый немного наклонился к коменданту, улыбнулся. Срубов увидел тонкое интеллигентное лицо, умный взгляд и русую бородку.

– А как же тогда я? Ведь я тогда и стенки не увижу.

В вопросе, в улыбке – наивное, детское. У Срубова мысль: никто никого и не собирается расстреливать. А чекисты захохотали. Комендант выронил папиросу.

– Вы славный парень, черт возьми. Ну ничего, мы вас подведем. А пенсне-то все-таки снимите.

Другой, тучный, с черной шерстью на груди, тяжелым басом:

– Я хочу дать последнее показание.



Комендант обернулся к Срубову. Срубов подошел ближе. Вынул записную книжку. Записывать стал не вдумываясь в смысл показания, не критикуя его. Был рад отсрочке решительного момента. А толстый врал, путался, тянул.

– Около леска, между речкой и болотом, в кустах...

Говорил, что отряд белых, в котором он служил, закопал где-то много золота. Никто из чекистов ему не верил. Все знали, что он только старается выиграть время. В конце концов приговоренный предложил отдалить его расстрел, взять его проводником, и он укажет, где зарыто золото.

Срубов положил записную книжку в карман. Комендант, смеясь, хлопнул голого по плечу:

– Брось, дядя, вола крутить. Становись.

Разделись уже все. От холода терли руки. Переступали на месте босыми ногами. Белье и одежда – пестрой кучей. Комендант сделал рукой жест – пригласил.

– Становитесь.

Тучный в черной шерсти завыл, захлебнулся слезами. Уголовный бандит с тупым, равнодушным лицом подошел к одной из дверей. Кривые волосатые ноги с огромными плоскими ступнями расставил широко, устойчиво. Сухоногий ротмистр из карательного отряда крикнул:

– Да здравствует советская власть!

С револьвером против него широконосый, широколицый, бритый Ванька Мудыня. Махнул перед ротмистром жилистым татуированным матросским кулаком. И с сонным плевком через зубы, с усмешкой:

– Не кричи – не помилуем.

Коммунист, приговоренный за взяточничество, опустил круглую стриженую голову, в землю глухо сказал:

– Простите, товарищи.

А веселый с русской бородкой, уже без пенсне, и тут всех рассмешил.

Встал, скроил глупенькую рожицу.

– Вот они какие, двери-то на тот свет – без петель. Теперь буду знать.

И опять Срубов подумал, что их не будут расстреливать. А комендант, все смеясь, приказал:

– Повернитесь.

Приговоренные не поняли.

– Лицом к стенке повернитесь, а к нам спиной.

Срубов знал, что, как только они станут повертываться, пятеро чекистов одновременно вскинут револьверы и в упор каждому выстрелят в затылок.

Пока наконец голые поняли, чего хотят от них одетые, Срубов успел набить и закурить потухшую трубку. Сейчас повернутся и – конец. Лица



у конвоиров, у коменданта, у чекистов с револьверами, у Срубова одиноковы – напряженно-бледные. Только Соломин стоял совершенно спокойно. Лицо у него озабочено не более, чем то нужно для обыденной, будничной работы. Срубков – глаза в трубку, на огонек. А все-таки заметил, как Моргунов, бледный, ртом хватал воздух, отвергивался. Но какая-то сила тянула его в сторону пяти голых, и он кривил на них лицо, глаза. Огонек в трубке вздрогнул. Больно стукнуло в уши. Белые сырые туши мяса рухнули на пол. Чекисты с дымящимися револьверами быстро отбежали назад и сейчас же щелкнули курками. У расстрелянных в судорогах дергались ноги. Тучный с звонким визгом вздохнул в последний раз. Срубков подумал: «Есть душа или нет? Может быть, это душа с визгом выходит?»

Двое в серых шинелях ловко надевали трупам на ноги петли, отволакивали их в темный загиб подвала. Двое таких же лопатами копали землю, забрасывали дымящиеся ручейки крови. Соломин, заткнув за пояс револьвер, сортировал белье расстрелянных. Старательно складывал кальсоны с кальсонами, рубашки с рубашками, а верхнее платье отдельно.

В следующей пятерке был поп. Он не владел собой. Еле тащил толстое тело на коротких ножках и тонко дребезжал:

– Святой боже, святой крепкий...

Глаза у него лезли из орбит. Срубков вспомнил, как мать стряпала из теста жаворонков, вставляла им из изюма глаза. Голова попа походила на голову жаворонка, вынутого из печи, с глазами-изюминками, надувшимися от жару. Отец Василий упал на колени:

– Братцы, родимые, не погубите...

А для Срубова он уже не человек – тесто, жаворонки из теста. Нисколько не жаль такого. Сердце затвердело злобой. Четко бросил сквозь зубы:

– Перестань ныть, божья дудка. Москва слезам не верит.

Его грубая твердость – толчок и другим чекистам. Мудыня крутил сигарку:

– Дать ему пинка в корму – замолчит.

Высокий, вихляющийся Семен Худоногов и низкий, квадратный, кривоногий Алексей Боже схватили попа, свалили, стали раздевать, он опять затянул, задрезжал стеклом в разошедшейся раме:

– Святой боже, святой крепкий...

Ефим Соломин остановил:

– Не трожьте батюшку. Он сам разденется.

Поп замолчал – мутные глаза на Соломина. Худоногов и Боже отошли.

– Братцы, не раздевайте меня. Священников полагается хоронить в облачении.





Соломин ласков:

– В лопотине-то те, дорогой мой, чижеле. Лопотина, она тянет.

Поп лежал на земле. Соломин сидел над ним на корточках, подобрал на колени полы длинной серой шинели, расстегивал у него черный репсовый подрясник.

– Оно этто нече, дорогой мой, что раздеем. Вот надоть бы тебя ще в баньке попарить. Когда человек чистый да различенный, тожно ему лекше и помирать. Чичас, чичас всю эту бахтерму долой с тебя. Ты у меня тожно, как птаха, крылышки расправишь.

У священника тонкое полотняное белье. Соломин бережно развязал тесемки у щиколоток.

– В лопотине тока убийцы убивают. А мы не убиваем, а казим. А казнь, дорогой мой, дело великая.

Один офицер попросил закурить. Комендант дал. Офицер закурил и, стискивая брови, спокойно щурился от дыма.

– Нашим расстрелом транспорта не наладите, продовольственного вопроса не разрешите.

Срубов услышал и разозлился еще больше.

Двое других раздевались, как в предбаннике, смеясь, болтали о пустяках, казалось, ничего не замечали, не видели и видеть не хотели. Срубов внимательно посмотрел на них и понял, что это только маскарад – глаза у обоих были мертвые, расширенные от ужаса. Пятая, женщина, крестьянка, раздевшись, спокойно перекрестилась и встала под револьвер.

А с папироской, рассердивший Срубова, не захотел повертываться спиной.

– Я прошу стрелять меня в лоб.

Срубов его обрезал:

– Системы нарушить не могу – стреляем только в затылок. Приказываю повернуться.

У голого офицера воля слабее. Повернулся. Увидел в дереве двери массу дырочек. И ему захотелось стать маленькой, маленькой мушкой, проскользнуть в одну из этих дырок, спрятаться, а потом найти в подвале какую-нибудь щелку и вылететь на волю. (В армии Колчака он мечтал кончить службу командиром корпуса – полным генералом.) И вдруг та дырка, которую он облюбовал себе, стала огромной дырой. Офицер легко прыгнул в нее и умер. Зрачок у него в правом открытом глазу был такой же широкий и неровный, как новая дырка в двери от пули, пробившей ему голову.

У отца Василия живот – тесто, вывалившееся из квашни на пол. (Отец Василий никогда не думал стать архиереем. Но протодьяконом рассчитывал.)



За ноги веревками потащили и этих в темный загиб. Все они – каждый по-своему – мечтали жить и кем-то быть. Но стоит ли об этом говорить, когда от каждого из них осталось только по три, по четыре пуда парного мяса?

Следующую пятерку не приводили, пока не была засыпана кровь и не убраны трупы. Чекисты крутили сигарки.

– Ефим, как жаба, ты завсегда веньгаешься с ними? – квадратный Боже спрашивал. Соломин тер пальцем под носом.

– А че их дражнить и на них злوبيться? Враг он, когда не пойманный. А туто-ка скотина он бессловесная. А дома, когда по крестьянству приходилось побойку делать, так завсегда с лаской. Подойдешь, погладишь, стой, Буренка, стой. Тожно она и стоит. А мне того и надо, половчя потом-то.

Расстреливали пятеро – Ефим Соломин, Ванька Мудыня, Семен Худоногов, Алексей Боже, Наум Непомнящих. Из них никто не заметил, что в последней пятерке была женщина. Все видели только пять парных окровавленных туш мяса.

Трое стреляли как автоматы. И глаза у них были пустые, с мертвым стеклянистым блеском. Все, что они делали в подвале, делали почти произвольно. Ждали, пока приговоренные разденутся, встанут, механически поднимали револьверы, стреляли, отбегали назад, заменяли расстрелянные обоймы заряженными. Ждали, когда уберут трупы и приведут новых. Только когда осужденные кричали, сопротивлялись, у троих кровь пенилась жгучей злобой. Тогда они матерились, лезли с кулаками, с рукоятками револьверов. И тогда, поднимая револьверы к затылкам голых, чувствовали в руках, в груди холодную дрожь. Это от страха за промах, за ранение. Нужно было убить наповал. И если недобитый визжал, харкал, плевался кровью, то становилось душно в подвале, хотелось уйти и напиться до потери сознания. Но не было сил. Кто-то огромный, властный заставлял торопливо поднимать руку и приканчивать раненого.

Так стреляли Ванька Мудыня, Семен Худоногов, Наум Непомнящих.

Один Ефим Соломин чувствовал себя свободно и легко. Он знал твердо, что расстреливать белогвардейцев так же необходимо, как необходимо резать скот. И как не мог он злиться на корову, покорно подставляющую ему шею для ножа, так не чувствовал злобы и по отношению к приговоренным, повертывавшимся к нему открытыми затылками. Но не было у него и жалости к расстреливаемым. Соломин знал, что они враги революции. А революции он служил охотно, добросовестно, как хорошему хозяину. Он не стрелял, а работал.

(В конце концов для Нее не важно, кто и как стрелял. Ей нужно только уничтожить своих врагов.)



После четвертой пятерки Срубов перестал различать лица, фигуры приговоренных, слышать их крики, стоны. Дым от табаку, от револьверов, пар от крови и дыханья – дурнящий туман. Мелькали белые тела, корчились в предсмертных судорогах. Живые ползали на коленях, молили. Срубов молчал, смотрел и курил. Оттаскивали в сторону расстрелянных. Присыпали кровь землей. Раздевшиеся живые сменяли раздетых мертвых. Пятерка за пятеркой.

В темном конце подвала чекист ловил петли, спускавшиеся в люк, надевал их на шеи расстрелянных, кричал сверху:

– Тащи!

Трупы с мотающимися руками и ногами поднимались к потолку, исчезали. А в подвал вели и вели живых, от страха испражняющихся себе в белье, от страха потеющих, от страха плачущих. И топали, топали стальные ноги грузовиков. Глухими вздохами из подземелья во двор...

Тащили. Тащили.

Подошел комендант.

– Машина, товарищ Срубов. Завод механический.

Срубов кивнул головой и вспомнил снопоогненный зал двора. Вертится зал, перекидывает людей из подвала в подвал. А во всем доме огни, машины стучат. Сотни людей заняты круглые сутки. И тут rrr-ax-pp-rrr-ax. С гулким лязгом, с хрустом буравят черепа автоматические сверла. Брызжут красные непрогорающие опилки. Смазочная мазь летит кровяными сгустками мозга. (Бурят или буравят ведь не только землю, когда хотят рыть артезианский колодец или найти нефть. Иногда ведь приходится проходить целые толщи камня, жилы руд, чтобы добуриться или добуравиться до чистой земли, необходимо пройти стальными сверлами костяные пластиы черепов, кашеобразные трясины мозгов, отвести в сточные трубы и ямы гейзеры крови.) Кровью парной, потом едким человеческим, испражнениями пышет подвал. И туман, туман, дым. Лампочки с усилением тарашат с потолка слепнущие огненные глаза. Холодной испариной мокнут стены. В лихорадке бьется земляной пол. Желто-красный, клейкий, вонючий студень стоит под ногами. Воздух отяжелел от свинца. Трудно дышать. Завод.

– Rrr-ax-rrr-rrr-ax!

Тащили.

– А-ах-и-и. В-и-и-и!

– Имею ценное показание. Прекратите расстрел.

– Трах-ах-pp.

Тащили.

– Ну, раздевайся. Раздевайся. Становись. Повернись.

– А-а-а-а. О-о-о.



– Р-а-ахах.

Тащили.

– Да здравствует государь император. Стреляй, красная сволочь. Господи, помилуй. Долой коммунистов. Пощадите. Пострелял я вас, красно-рожие.

– Ррр-ррр.

Тащили.

– Невинно погибаю.

– У-у-у.

– Брось.

– Ррр.

Тащили.

– Умоля-я-ю.

– Ррр-у-у-xxx.

Тащили.

Ванька Мудыня, Семен Худоногов, Наум Непомнящих мертвенно-бледные, устало расстегивающие полушубки с рукавами, покрасневшими от крови. Алексей Боже с белками глаз, воспаленными кровавым возбуждением, с лицом, забрызганным кровью, с желтыми зубами в красном оскале губ, в черной копоти усов. Ефим Соломин с деловитостью, серьезной и невозмутимой, трущий под курносом носом, сбрасывающий с усов и бороды кровавые запекшиеся сгустки, поправляющий захватанный козырек, оторвавшийся наполовину от зеленой фуражки с красной звездой. (Но разве интересно Ей это? Ей необходимо только заставить убивать одних, приказать умирать другим. Только. И чекисты, и Срубов, и приговоренные одинаково были ничтожными пешками, маленькими винтиками в этом стихийном беге заводского механизма. На этом заводе уголь и пар – Ее гневная сила, хозяйка здесь Она – жестокая и прекрасная.) И Срубов, закутанный в черный мех полушубка, в рыжий мех шапки, в серый дым незатухающей трубки, почувствовал Ее дыхание. И от ощущения близости той новой напряженной энергии рванул мускулы, натянул жилы, быстрее погнал кровь. Для Нее и в Ее интересах Срубов готов на все. Для Нее и убийство – радость. И если нужно будет, то он не колеблясь сам станет лепить пули в затылки приговоренных. Пусть хоть один чекист попробует струсить, отступить, – он сейчас же уложит его на месте. Срубов полон радостной решимости.

Для Нее и ради Нее.

Но случались растопорки. Молодой красавец гвардеец не хотел раздеваться. Кривил тонкие аристократические губы, иронизировал:

– Я привык, чтобы меня раздевали холуи. Сам не буду.

Наум Непомнящих злобно ткнул его в грудь дулом нагана.



– Раздевайся, гад.

– Дайте холуя.

Непомнящих и Худоногов схватили упрямого за ноги, свалили. Рядом почти без чувств – генерал Треухов. Хрипел, задыхался, молил. В горле у него шипело, словно вода уходила в раскаленный песок. Его тоже пришлось раздевать. Соломин плевался, отвергивался, когда стаскивал штаны с красными лампасами.

– Тьфу! Не продыхнешь. Белье-то како обгадил.

Гвардеец, раздетый, встал, сложил руки на груди – и ни шагу. Заявил с гордостью:

– Не буду перед всякой мразью вертеться. Стреляй в грудь русского офицера.

Отхаркался и Худоногову в глаза. Худоногов в бешенстве сунул в губы офицеру длинный ствол маузера и, ломая белую пластинку стиснутых зубов, выстрелил. Офицер упал навзничь, беспомощно дернув головой и махнув руками. В судорогах тело заиграло мраморными мускулами атлета. Срубову на одну минуту стало жаль красавца. Однажды ему было так же жаль кровного могучего жеребца, бившегося на улице с переломленной ногой. Худоногов рукавом стирал с лица плевки. Срубов ему строго:

– Не нервничать.

И властно, и раздраженно:

– Следующую пятерку. Живо. Распустили слюни.

Из пятерки остались две женщины и прапорщик Скачков. Он так и не перерезал себе горла. И уже голый все держал в руках маленький осколок стекла.

Полногрудая вислозадая дама с высокой прической дрожала, не хотела идти к стенке. Соломин взял ее под руку:

– Не бойсь, дорогая моя. Не бойсь, красавица моя. Мы тебе ничо не сделаем. Вишь, туто-ка друга баба.

Голая женщина уступила одетому мужчине. С дрожью в холеных ногах, тонких у щиколоток, ступала по теплой липкой слизи пола. Соломин вел ее осторожно с лицом озабоченным.

Другая – высокая блондинка. Распущенными волосами прикрылась до колен. Глаза у нее синие. Брови густые, темные. Она совсем детским голосом и немного заикаясь:

– Если бы вы зн-знали, товарищи... жить, жить как хочется...

И синевой глубокой на всех льет. Чекисты не поднимают револьверы. У каждого глаза – угли. А от сердца к ногам ноющая, сладкая истома. Молчал комендант. Неподвижно стояли пятеро с закопченными револьверами.



А глаза у всех неотрывно на все. Стало тихо. Испарина капала с потолка. Об пол разбивалась с мягким стуком.

Запах крови, парного мяса будил в Срубове звериное, земляное. Схватить, сжать эту синеглазую. Когтями, зубами впиться в нее. Захлебнуться в соленом красном угаре... Но Та, которую любил Срубов, которой служил, была здесь же. (Хотя, конечно, какое бы то ни было противопоставление, сравнение Ее с синеглазой немыслимо, абсурдно.) А потому – решительно два шага вперед. Из кармана черный браунинг. И прямо между темных дуг бровей, в белый лоб никелированную пулю. Женщина всем телом осела вниз, вытянулась на полу. На лбу, на русых волосах змейкой закрутились кровавые кораллы. Срубов не опускал руки. Скачкова – в висок. Полногрудая рядом без чувств. Над ней нагнулся Соломин и толстой пулей сорвал крышку черепа с пышной прической.

Браунинг в карман. Отошел назад. В темном конце подвала трупы друг на друга лезли к потолку. Кровь от них в светлый конец ручейками. Уставший Срубов видел целую красную реку. В дурманящем тумане все покраснело. Все, кроме трупов. Те белые. На потолке красные лампы. Чекисты во всем красном. А в руках у них не револьверы – топоры. Трупы не падают – березы белоствольные валятся. Упруги тела берез. Упорно сопротивляется в них жизнь. Рубят их – они гнутся, трещат, долго не падают, а падая, хрустят со стоном. На земле дрожат умирающими сучьями. Сбрасывают чекисты белые бревна в красную реку. В реке вяжут в плоты. А сами рубят, рубят. Искры огненные от ударов.

Окровавленными зубами пены грызет кирпичные берега красная река. Вереницей плывут белоствольные плоты. Каждый из пяти бревен. На каждом пять чекистов. С плота на плот перепрыгивает Срубов, распрямляется, командует.

А потом, когда ночь, измученная красной бессонницей, с красными воспаленными глазами, задрожала предутренней дрожью, кровавые волны реки зажглись ослепительным светом. Красная кровь вспыхнула сверкающей огненной лавой. И не пол трясся в лихорадке – земля колебалась. Извергаясь, грохотал вулкан.

– Трр-ах-ррр-ух-ррр.

Размыты, разрушены стены подвала. Затоплены двор, улицы, город. Жгучая лава льется и льется. На недосягаемую высоту выброшен Срубов огненными волнами. Слепит глаза светлый, сияющий простор. Но нет в сердце страха и колебаний. Твердо, с поднятой головой стоит Срубов в громе землетрясения, жадно глядится в даль. В голове только одна мысль – о Ней.





## II

Бледной лихорадкой лихорадило луну. И от лихорадки, и от мороза дрожала луна мелкой дрожью. И дрожащей, прозрачно-искристой дымкой вокруг нее ее дыхание. Над землей оно сгущалось облаками грязноватой ваты, на земле дымилась парным молоком.

На дворе в молоке тумана рядами горбились зябко-синие снежные сугробы. В синем снегу, лохмотьями налипшем на подоконники, лохмотьями свисавшем с крыш, посинели промерзшие белые трехэтажные многоглазые стены.

И в бледной лихорадке торопливости лица двоих в разных желтых (ночь, впрочем, и черных) полушубках, стоящих на грузовике, опускающих в черную глотку подвала петли веревок, ждущих с согнутыми спинами, с вытянутыми вперед руками.

Подвал вздыхает или кашляет:

– Тащи-т-и-и.

И выдохнутые или выплюнутые из дымящейся глотки мокроты или слюной тягучей, кроваво-сине-желтой, теплой тянутся на веревках трупы. Как по мокроте, по слюне, ходили по ним, топтали их, размазывая по грузовику. Потом, когда выше бортов начали горбиться спины трупов, стынущие и синеющие, как горбы сугробов, тогда брезентом, серым, как туман, накрывали грузовик. И стальными ногами топал, и глубоко увязал в синем снегу, ломая спины сгорбившихся сугробов, и в хрусте снежных костей, в лязге железа, в фыркающей одышке мотора, в кроваво-черном поту нефти и крови грузовик уходил за ворота. Шел серый в сером тумане на кладбище, сотрясая улицы, дома, поднимая с кроватей всезнающих обывателей. К замерзшим стеклам притыкались, плющились заспанные носы. И в дрожании коленок, в дрожи кроватей, в позвякивании посуды и окон заспанные загноившиеся глаза раскрылись от страха, заспанные вонючие рты шептали бессильно-злбно, испуганно:

– Чека... Из Чека... Чека свой товар вывозит..

И на дворе тоже ногами (только не стальными, а живыми, человечими, при этом сильно уставшими) ломали с хрустом синие горбы сугробов – Срубов, Соломин, Мудыня, Боже, Непомнящих, Худоногов, комендант, двое с лопатами и конвоиры (конвоирам уже некого было конвоировать). Соломин шел со Срубовым рядом. Остальные сзади. У Соломина кровь на правом рукаве шинели, на правой стороне груди, на правой щеке – в лунном свете, как сажа. Говорил он голосом упавшим,





но бодрым, говорил, как говорят люди, сделавшие большую, трудную, но важную и полезную работу.

– Каб того высокого, красивого, в рот-то которого стреляли, да спарить с синеглазой – ладный бы плод дали.

Срубов посмотрел на него. Соломин говорил спокойно, деловито разводил руками. Срубов подумал: «О ком это он?» Но понял, что о людях. Усталыми глазами заметил только, что у чекиста на левой руке связка крестиков, образков, ладанок. Спросил машинально:

– Зачем тебе их, Ефим?

Тот светло улыбнулся:

– Ребятишкам играть, товарищ Срубов. Игрушек нонче не купишь. Нету-ка их.

Срубов вспомнил, что у него есть сын Юрий, Юрасик, Юхасик. Сзади со смехом матерились. Вспоминали расстрелянных.

– Поп-то расписался... А генерал-то...

Срубов устало зевнул. Обернулся бледный.

– Таких веселых, как в пенсиях, завсегда лекше бить. А уж которы воют... Это Наум Непомнящих. Боже и согласен, и нет.

Говорили с удалью, с лихо поднятыми головами.

Усталый мозг напрягся с усилием. Срубов понял, что все это напускное, показное. Все смертельно устали. Головы задирали потому, что они, свинцовые, не держались прямо. И матерщина, только чтоб подбодриться. Всплыло в памяти иностранное слово – допинг.

До кабинета Срубов шел очень долго. В кабинете заперся. Повернул ключ и внимательно посмотрел на дверную ручку – чистая, не испачкана. Оглядел у лампы руки – крови не было. Сел в кресло и сейчас же вскочил, нагнулся к сиденью – тоже чистое. Крови не было ни на полушубке, ни на шапке. Открыл несгораемый шкаф. Из-за бумаг вытащил четверть спирта. Налил ровно половину чайного стакана. Развел отварной водой из графина. Болтал замутненную жидкость перед огнем. Напряженно оглядывался через стекло – красного ничего не было. Жидкость постепенно стала прозрачной. Поднес стакан ко рту, и опять в памяти – допинг.

Только когда выпил и прошелся по кабинету – заметил, что от двери к столу, от стола к шкафу и обратно к двери его следы шли красной пунктирной линией, замыкавшейся в остроугольный треугольник.

И сейчас же с письменного стола нахально стала пялиться бронза безделушек, стальной диван брезгливо поднял тонкие гнутые ножки. Маркс на стене выпятил белую грудь сорочки. Увидел – разозлился.

– Белые сорочки, товарищ Маркс, черт бы вас побрал.

Со злобой, с болью схватил четверть, стакан, тяжело подошел к дивану. «Ишь, жметя, аристократ. На вот тебе». Нарочно сапоги не снял. Растянулся – и каблуками в ручку. На пепельно-голубой обивке грязь, кровь и снежная



мокрота. Четверть, стакан рядом на пол поставил. А самому хочется с головой в реку, в море и все, все смыть. Уже лежа – еще полстакана в рот жгучего, неразведенного. И в мозгу, пьянеющем от спирта, от подвального угара, от усталости, от бессонницы, – почти пьяные, почти бессвязные мысли:

– Почему, собственно, белая сорочка Маркса?

Ведь одни из них – поумереннее и полиберальнее – хотели сделать Ей аборт, другие – пореакционнее и порешительнее – кесарево сечение. И самые активные, самые черные пытались убить и Ее, и ребенка. И разве не сделали так во Франции, где Ее, бабу, великую, здоровую, плодовитую, обесплодили, вырядили в бархат, в бриллианты, в золото, обратили в ничтожную, безвольную содержанку.

Потом, что такое колчаковская контрреволюция? Это небольшая комната, в которой мало воздуха и много табачного дыма, водочного перегара, вонючего человеческого пота, в которой письменный стол весь в бумагах – чистых и исписанных, в бутылках – пустых и непочатых со спиртом, с водкой, в нагайках – ременных, резиновых, проволочных, резиново-проволочно-свинцовых, в револьверах, в бебутах, в шашках, в гранатах. Нагайки, револьверы, гранаты, винтовки, бебуты и на стенах, и на полу, и на людях, сидящих за столом и спящих под ним и около него. Во время допроса вся комната пьяная или с похмелья набрасывается на допрашиваемого с ремнями, с резинами, с проволокой, со свинцом, с железом, с порожними бутылками, рвет его тело на ключья, порет в кровь, ревет десятками глоток, тычет десятками пальцев с угрозой на дула винтовок.

Колчаковская контрразведка – еще другая комната. В той письменный стол в зеленом сукне и бумагах. За столом капитан или полковник с надушенными усами, всегда вежливый, всегда деликатный – тушит папиросы о физиономии допрашиваемых и подписывает смертные приговоры.

Ну, вот вам и белая сорочка Маркса, брезгливый диван, чопорная чистота безделушек на столе.

Ну да, да, да, да... Да... Да... Да... Но... Но и но...

Сладко пуле – в лоб зверя. Но червя раздавить? Когда их сотни, тысячи хрустят под ногами и кровавый гной брызжет на сапоги, на руки, на лицо.

А Она не идея. Она – живой организм. Она – великая беременная баба. Она баба, которая вынашивает своего ребенка, которая должна родить.

Да... Да... Да...

Но для воспитанных на римских тогах и православных рясах Она, конечно, бесплотная, бесплодная богиня с мертвыми антич-



ными или библейскими чертами лица в античной или библейской хламиде. Иногда даже на революционных знаменах и плакатах Ее так изображают.

Но для меня Она – баба беременная, русская, ширококозая, в рваной, заплатах, грязной, вшивой холщовой рубахе. И я люблю Ее такую, какая Она есть, подлинную, живую, не выдуманную. Люблю за то, что в Ее жилах, огромных, как реки, пылающая кровавая лава, что в Ее кишках здоровое урчание, как раскаты грома, что Ее желудок варит, как доменная печь, что биение Ее сердца – как подземные удары вулкана, что Она думает великую думу матери о зачатом, но еще не рожденном ребенке. И вот Она трясет свою рубашку, соскребает с нее и с тела вшей, червей и других паразитов – много их присосалось – в подвалы, в подвалы. И вот мы должны, и вот я должен, должен, должен их давить, давить, давить. И вот гной из них, гной, гной. И вот опять белая сорочка Маркса. А с улицы к окну липнет ледяная рожа мороза, ломит раму. И за окном термометр, на который раньше смотрел купец Иннокентий Пшеницын, падает до минус сорока семи.

В кабинете Иннокентия Пшеницына, теперь Срубова, мутный рассвет. Но дом Иннокентия Пшеницына, теперь Губчека, не знает, не замечает рассветов, сумерек, ночей, дней – стучит машинками, шелестит бумагой, шаркает десятками ног, хлопает дверьми, не ложится, не спит круглые сутки.

И в подвалах № 3, 2, 1, где у Иннокентия Пшеницына хранились головы сыру, головы сахару, колбасы, вино, консервы, теперь другое. В № 3 в полутьме на полках, заменяющих нары, головами сыра – головы арестованных, колбасами – колбасы рук и ног. Как между головами сыра, как между колбасами, осторожно, воровито шмыгают рыжие жирные крысы с длинными голыми хвостами. Арестованные забылись чуткой дрожащей дремотой. Чуткой дрожью усов, ноздрей, зорким блеском глаз щупают крысы воздух, безошибочно определяют уснувших более крепко, грызут у них обувь. У подследственной Неведомской отъели мех с высоких теплых галош.

И крысы же в подвале № 1, где уже убраны трупы, с визгом, с писком в драку, лижут, выгрызают из земляного пола человеческую кровь. И языки их острые, маленькие, красные, жадные, как языки огня. И зубы у них острые, маленькие, белые, крепче камня, крепче бетона.

Нет крыс только в подвале № 2. В № 2 не расстреливают и не держат долго арестованных, туда сажают только на несколько часов перед расстрелом.

И в сыром тумане мороза, в мути рассвета на белом трехэтажном доме красными пятнами вывеска – черным по красному написано:

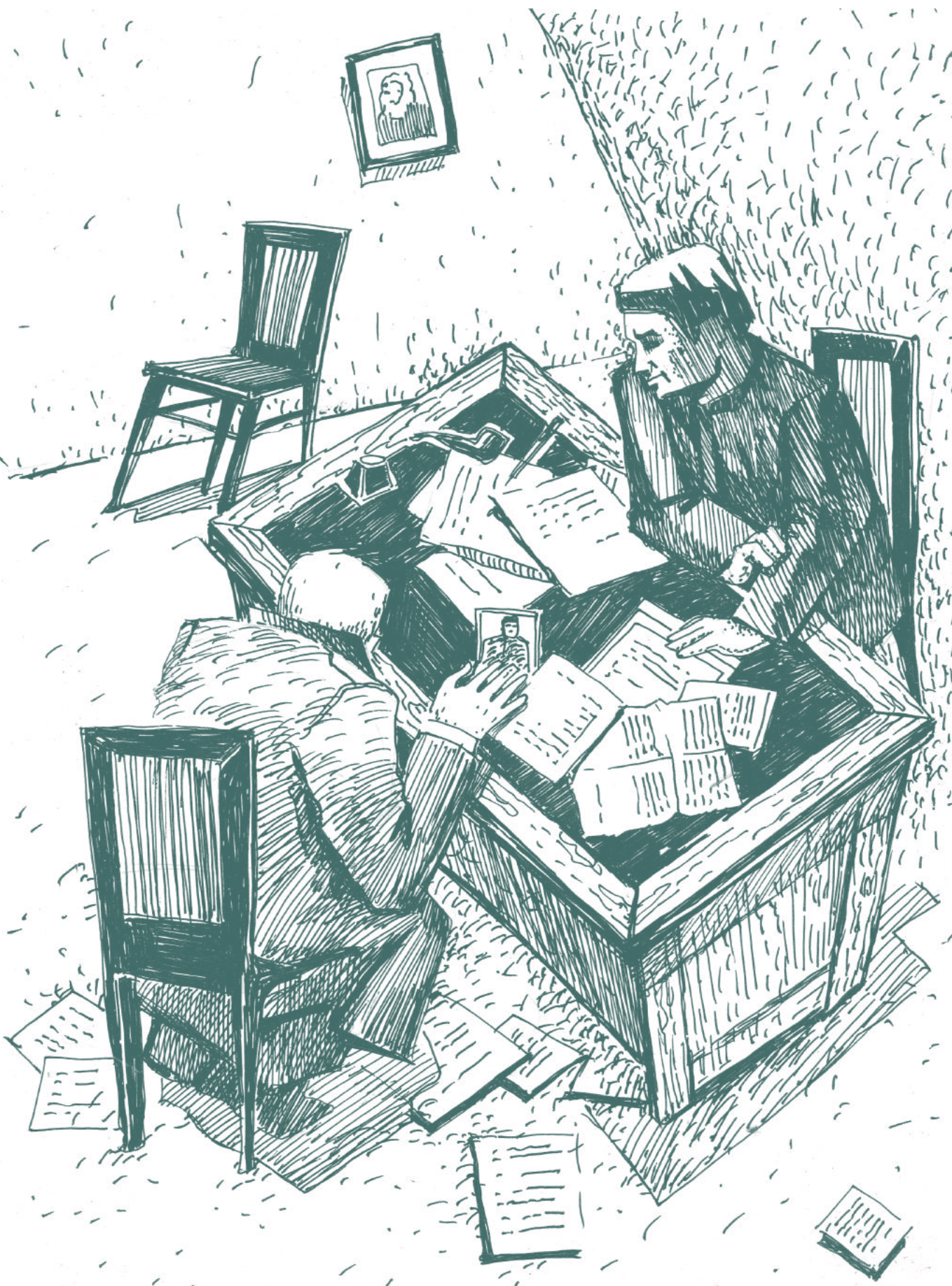


«Губернская Чрезвычайная Комиссия». Ниже в скобках лаконичнее, понятнее (Губчека). А раньше золотом по черному: «Вино. Гастрономия. Бакалея. Иннокентий Пшеницын».

Над домом бархатное, тяжелое, набухшее кровью красное знамя брызжет по ветру кровавыми брызгами обтрепанной бахромы и кистей.

И, сотрясая улицы, дома и кладбище, везет чекистов с железными лопатами последний серый грузовик в кроваво-черном поту крови и нефти. Когда он, входя в белый подъезд, топает тяжелыми стальными ногами, белый каменный трехэтажный дом дрожит.







## III

Ночами белый каменный трехэтажный дом с красивым флагом на крыше, с красной вывеской на стене, с красными звездами на шапках часовых вглядывался в город голодными блестящими четырехугольными глазами окон, щерил заледеневшие зубы чугунных решетчатых ворот, хватал, жевал охапками арестованных, глотал их каменными глотками подвалов, переваривал в каменном брюхе и мокротой, слюной, потом, экскрементами выплевывал, выхаркивал, выбрасывал на улицу. И к рассвету усталый, позевывая со скрипом чугунных зубов и челюстей, высовывал из подворотни красные языки крови.

Утрами тухли, чернели четырехугольные глаза окон, ярче загоралась кровь флага, вывески, звезды на шапках часовых, ярче кровавые языки из подворотни, лизавшие тротуар, дорогу, ноги дрожащих прохожих. Утрами белый дом навязчивей, настойчивей металлическими щупальцами проводов щупал по городу дома с пестрыми вывесками советских учреждений.

– Говорят из Губчека. Немедленно сообщите... Из Губчека. В течение двадцати четырех часов представьте... Губчека предлагает срочно, под личную ответственность... Сегодня же до окончания занятий дайте объяснение Губчека... Губчека требует...

И так всем. И все дома с пестрыми вывесками советских учреждений, большие и маленькие, каменные и деревянные, растопыривали черные уши телефонных трубок, слушали внимательно, торопливо. И делали так, как требовала Чека, – немедленно, сейчас/ко, в двадцать четыре часа, до окончания занятий.

А в Губчека – люди, вооруженные винтовками, стояли на каждой площадке, в каждом коридоре, у каждой двери и во дворе, люди в кожаных куртках, в суконных гимнастерках, френчах, вооруженные револьверами, сидели за столами с бумагами, бегали с портфелями по комнатам, барышни, ничем не вооруженные, красивые и дурные, хорошо и плохо одетые, трещали на машинках, уполномоченные, агенты, красноармейцы батальона ВЧК курили, разговаривали в дыму комендантской, прислуга из столовой на подносе разносила по отделам жидкий чай в рыжих глиняных стаканах с конфетами из ржаной муки и патоки, посетители в рваных шубах (в Чека всегда ходили в рванье. У кого не было своего – доставали у знакомых) робко брали пропуски, свидетели нетерпеливо ждали допроса, те и другие боялись из посетителей, из свидетелей превратиться в обвиняемых и арестованных.



Утрами в кабинете на столе у Срубова серая горка пакетов. Конверты разные – белые, желтые, из газетной бумаги, из старых архивных дел. На адресах лихой канцелярский почерк с завитушками, с росчерком, безграмотные каракули, нервная интеллигентская вязь, старательно выведенные дамские колечки, ровные квадратики шрифта печатных машинок. Срубов быстро рвал конверты.

– Не мешало бы Губчека обратить внимание... Открыто две жены. Подрыв авторитета партии... Доброжелатель.

– Я, как идейный коммунист, не могу... возмутительное явление: некоторые посетители говорят прислуге – барышня, душечка, тогда как теперь советская власть и полагается не иначе, как товарищ, и вы, как... Необходимо, кому ведать сие надлежит...

Срубов набил трубку. Удобнее уселся в кресле. Пакет с надписью – «совершенно секретно», «в собственные руки». Газетная бумага. Разорвал.

«Я нашел вотку в 3-ей роти командер белай Гат...»

Дальше на белом листе писчей бумаги рассуждения о том, что сделал в Сибири Колчак и что делает советская власть. В самом конце вывод: «...и поетому ево (командира роты) непрямено унистожит, а он мешаит дела обиденения рабочих и хрестьяноф, запричаит промеж крастно армейциф товарищеская рука пожатию. Врит политрук Паттыкин.»

Срубов морщился, сосал трубку.

Акварелью на слоновой бумаге черный могильный бугорок, в бугорок воткнут кол. Внизу надпись: «Смерть кровопийцам чекистам...»

Брезгливо поджал губы, бросил в корзину.

«Товарищ председатель, я хочу с вами познакомиться, потому что чекисты очень завлекательныя. Ходят все в кожаных френчах с бархатными воротниками, на боку завсегда револьверы. Очень храбрые, а на грудях красные звезды... Я буду вас ожидать...»

Срубов захохотал, высыпал трубку на сукно стола. Бросил письмо, стал смахивать горящий табак. В дверь постучали. Не дожидаясь разрешения, вошел Алексей Боже. Положил большие красные руки на край стола, неморгающими красными глазами уставился на Срубова. Спросил твердо, спокойно:

– Севодни будем?

Срубов понял, но почему-то переспросил:

– Что?

– Контрабошить.

– А что?

Четырехугольное плоское скулистое лицо Боже недовольно дернулось, шевельнулись черные сросшиеся брови, белки глаз совсем покраснели.



– Сами знаете.

Срубов знал. Знал, что старого крестьянина с весны тянет на пашню, что старый рабочий скучает о заводе, что старый чиновник быстро чахнет в отставке, что некоторые старые чекисты болезненно томятся, когда долго не имеют возможности расстрелять или присутствовать при расстрелах. Знал, что профессия кладет неизгладимый отпечаток на каждого человека, вырабатывает особые профессиональные (свойственные только данной профессии) черты характера, до известной степени обуславливает духовные запросы, наклонности и даже физические потребности. А Боже – старый чекист, и в Чека он был всегда только исполнителем-расстреливателем.

– Могуты нет никакой, товарищ Срубов. Вторя неделя идет без дела. Напьюсь, что хотите делайте.

И Боже, четырехугольный, квадратный, с толстой шеей и низким лбом, беспомощно топтался на месте, не сводил со Срубова воспаленных красных глаз.

У Срубова мысль о Ней. Она уничтожает врагов. Но и они Ее ранят. Ведь Ее кровь, кровь из Ее раны этот Боже. А кровь, вышедшая из раны, неизбежно чернеет, загнивает, гибнет. Человек, обративший средство в цель, сбивается с Ее дороги, гибнет, разлагается. Ведь она ничтожна, но и велика только на Ее пути, с Ней. Без Нее, вне Ее она только ничтожна. И нет у Срубова жалости к Боже, нет сочувствия.

– Напьешься – в подвал спущу.

Без стука в дверь, без разрешения войти вошел раскачивающейся походкой матроса Ванька Мудыня, встал у стола рядом с Боже.

– Вызывали? Явился.

А в глаза не смотрит – обижен.

– Пьешь, Ванька?

– Пью.

– В подвал посажу.

Щеки у Мудыни вспыхнули, как от пощечины. Руки нервно обдергивали черную матросскую тужурку. В голосе боль обиды.

– Несправедливо эдак, товарищ Срубов. Я с первого дня советской власти. А тут с белогвардейцами в одну яму.

– Не пей.

Срубов холоден, равнодушен. Мудыня часто заморгал, скривил толстые губы.

– Вот хоть сейчас к стенке ставьте – не могу. Тысячу человек расстрелял – ничего, не пил. А как брата укокал, так и пить зачал. Мерещится он мне. Я ему – становись, мой Андрюша, а он – Ваньша, браток, на колени... Эх... Кажну ночь мерещится...





Срубову нехорошо. Мысли комками, лоскутами, узлами, обрывками. Путаница. Ничего не разберешь. Ванька пьет. Боже пьет, сам пьет. Почему им нельзя? (Ну да, престиж Чека. Они почти открыто. Да. Потом, вообще, имеет ли права Она? И что знает Она? А, Она? И пот взаимоотношения, роль нрава. Хаос. Хаос. Замахал руками.)

– Идите, идите. Нельзя же только так открыто.

А когда дверь закрылась, уткнулся в письмо, чтобы не думать, не думать, не думать.

«Я человек центральный, но... тем более он ответственный работник... Керосин необходим Республике... и выменивать полпуда картошки на два фунта керосина для личного удовольствия...»

И одни за другим поплыли заявления о двух фунтах соли, фунте хлеба, полфунте сахару, десяти фунтах муки, трех гвоздях, паре подошв, дюжине иголок, которые кто-либо у кого-либо выменял, купил (тогда как теперь советская власть – и разрешается все приобретать только по ордерам с соответствующими подписями, за печатью, с надлежащего разрешения). А если все это было получено по ордеру, то указывалось на незаконность выписки самого ордера, неправильность выдачи.

Три-четыре дельных указания – контрразведчик скрывается под чужой фамилией, систематически расхищается пушнина со склада Губсовнархоза, каратель пролез в партию. И опять доброжелатели, зрячие, видящие, нейтральные, посторонние, независимые. В шорохе бумаги – угодливый шепоток. Они любили «довести до сведения кого следует». Они подобострастно брали Срубова за рукав, тащили его к своей спальне, показывали содержимое ночных горшков (может быть, человек пьяный был, и, может быть, доктора могут исследовать и установить). Они трясли перед ним грязное белье – свое, чужое, своих родных, родственников, знакомых. Как мыши, они проникали в чужие погреба, подполья, кладовки, забирались в помойки, и все время заискивающе улыбались или корчили рожи благородных блюстителей нравственности, и все кивали головками и спрашивали:

– А как, по-вашему, это? А как это? А? Ничего? Не пахнет ли контрреволюцией? А вот посмотрите сюда. А вот здесь подозрительно. Нет? А?

В конце концов они спокойно отходили в сторону и равнодушно заявляли, что это их не касается, что их нравственный долг только довести до сведения того, кому «ведать сие надлежит».

Срубов наискось красным карандашом накладывал резолюции. Подписывался размашисто двумя буквами: А. С. Рвал пакеты. Читал нетерпеливо, быстро, через строчку. На его имя приходили больше анонимки, пустячные мелкие заявления добровольных осведомителей. Серьезные сведения, донесения секретных агентов – непосредственно в агентурное отделение товарищу Яну Пепелу.



Срубов не кончил. Надоело. Встал. По кабинету крупными шагами из угла в угол. Трубка потухла, а он грыз ее, тянул. Липкая грязь раздражала тело. Срубов передернул плечами. Расстегнул ворот гимнастерки. Нижняя рубашка совершенно чистая. Вчера только надел после ванны. Все чистое, и сам чистый. Но ощущение грязи не проходило.

Дорогой письменный стол с роскошным мраморным чернильным прибором. Удобные богатые кресла. Новые обои на стенах. Холодная, сверкающая чванная чистота. И Срубову неловко в своем кабинете.

Подошел к окну. По улице шли и ехали. Шли суетливые совработники с портфелями, хозяйки с корзинами, разношерстные люди с мешками и без мешков. Ехали только люди с портфелями и люди с красными звездами на фуражках, на рукавах. Тащились между тротуарами дорогой с нагруженными санками советские кони-люди.

Через всю эту движущуюся улицу от его кабинета тянулись сотни чутких нервов-проводов. У него сотни добровольных осведомителей, штат постоянных секретных агентов, и вместе с каждым из них он подглядывает, подслушивает, хитрит. Он постоянно в курсе чужих мыслей, намерений, поступков. Он спускается до интересов спекулянта, бандита, контрреволюционера. И туда, где люди напакают, наносят грязь, обязан он протянуть свои руки и вычистить. В мозгу по букве вылезло и кривой лестницей вытянулось иностранное слово (они за последнее время вязались к нему): а-с-с-е-н-и-з-а-т-о-р. Срубов даже усмехнулся. Ассенизатор революции. Конечно, он с людьми дела почти не имел, только с отбросами. Они ведь произвели переоценку ценностей. Ценное раньше – теперь стало бесценным, ненужным. Там, где работали честно живые люди, ему нечего было делать. Его обязанность – вылавливать в кроваво-мутной реке революции самую дрянь, сор, отбросы, предупреждать загрязнение, отравление Ее чистых подпочвенных родников. И длинное это слово так и осталось в голове.

...Мудыня, Боже – оба закаленные фронтовики, верные, истинные товарищи. У обоих ордена Красного Знамени. Иван Никитич Смирнов знал их еще по восточному фронту, и про них именно он сказал: «С такими мы будем умирать...» Но водка? А сам? И какое значение все мы – я, Мудыня, Боже, ну все, все... Да, какое значение имеем все мы для Нее?

И это письмо отца. Два дня как получил, а все в голове. Не свои, конечно, мысли у отца... «Представь, что ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью осчастливить людей, дать им мир и покой, но для этого необходимо замучить всего только одно крохотное созданище, на слезах его основать это здание. Согласился бы ты быть



архитектором? Я, отец твой, отвечаю – нет, никогда, а ты... Ты думаешь на миллионах замученных, расстрелянных, уничтоженных воздвигнуть здание человеческого счастья... Ошибаешься... Откажется будущее человечество от «счастья», на крови людской созданного...»

Нетерпеливо кашлянул нетерпеливый Ян Пепел, Срубов вздрогнул. К столу подошел, в кресло сел, пригласил сесть Пепела машинально. Слушал и не слышал того, что говорил Пепел. Смотрел на него пустыми отсутствующими глазами.

Когда Пепел сказал, что было нужно, и поднялся, Срубов спросил:

– Вы никогда, товарищ Пепел, не задумываетесь над вопросом террора? Вам когда-нибудь было жаль расстрелянных, вернее – расстреливаемых?

Пепел в черной кожаной тужурке, в черных кожаных брюках, в черном широком обруче ремня, в черных высоких начищенных сапогах, выбритый, причесанный, посмотрел на Срубова упрямыми, холодными голубыми глазами. И свой тонкий с горбинкой правильный нос, четкий четырехугольный подбородок кверху. Кулак левой руки из кармана булжником. Широкая ладонь правой на кобуре револьвера.

– Я есть рабочий, ви есть интеллигент. У меня есть ненависть, у вас есть философий.

Больше ничего не сказал. Не любил отвлеченных разговоров. Вырос на заводе. Десять лет над головой, под ногами змеями шипели ремни, скрипели зубы резцов, кружил голову крутящийся бег колеса. Некогда разговаривать. Поспевай повертывайся. Скуп стал на слова. Но приобрел ценную быстроту взгляда. Перенес в душу железное упорство машины. С завода ушел на войну, а с войны – в революцию, на службу к Ней. Но рабочим остался. И на службе, в кабинете слышал шипящее ползанье приводных ремней, щелканье зубчатых колес жизни. В кабинете – как в мастерской, за столом – как за станком. Писал безграмотно, но быстро. Стружками летела бумага с его стола на стол машинистки. Трещал звонок телефона, хватал трубку. Одно ухо слушает, другое контролирует стук машинки. Перебой, остановка – кричит:

– Ну, пошла, пошла, машина. Живо!

И в телефон кричит:

– Карошо. Слушаю.

На ходу распоряжения агентам, на ходу два-три слова посетителям. Быстро, быстро. Некогда сидеть, много думать у машины. На полном ходу завод.

Вот и сейчас, после Срубова, у себя посетителя схватил глазами, как клещами, в кресло усадил – в тиски сжал. И пошел, пошел вопросами, как молотками.

– Что? Благонадежность? Карошо. А советвласть сочувствуете? Вполне? Карошо. Но будем логичны до конца...



И Пепел написал на бумаге то, чего не хотел сказать при машинистке.  
«Кто сочувствует советвласти, тот должен ее помогать давать.  
Будете у нас секретный осведомитель?»

Посетитель оглушен, бормочет полуотказ, полусогласие. А Пепел уже его заносит в список. Сует ему написанный на машинке лист-инструкцию секретным осведомителям.

– Согласны? Карошо. Прочтите. Дадим благонадежность.

Конечно, он ему и не думает доверять, как не доверяет десяткам других сотрудников. И работу каждого из них он обязательно проверяет, контролирует. За два с лишком года работы в Чека у него выработалась привычка никому не верить.

А в кабинет к Срубову шмыгающими, липнущими шажками, кланяясь, приседая, улыбаясь, заполз полковник Крутаев. Обрюзгший, седоусый, лысый, в потертой офицерской шинели, сел по одну сторону стола.

Срубов по другую.

– Я вам еще из тюрьмы писал, товарищ Срубов, о своих давнишних симпатиях к советской власти.

Полковник непринужденно закинул ногу на ногу.

– Я утверждал и утверждаю, что в моем лице вы приобретаете ценнейшего сотрудника и преданнейшего идейного коммуниста.

Срубову хотелось плюнуть в лицо Крутаеву, надавать пощечин, растоптать его. Сдерживался, грыз усы, забирал в рот бороду. Молчал, слушал.

Крутаев слащавой улыбкой растянул дряблые губы, вытащил из кармана серебряный портсигар.

– Разрешите? А вы?

Полковник привстал, с раскрытым портсигаром потянулся через стол. Срубов отказался.

– Сегодня я вам докажу это, идейный товарищ Срубов и проницательнейший предгубчека.

Срубов молчал. Крутаев руку в боковой карман шинели.

– Полюбуйтесь на молодчика.

Подал визитную фотографическую карточку. Одутловатое, интересное лицо, погоны капитана. Владимир с мечами и бантом.

– Ну?

– Брат моей жены.

Срубов пожал плечами.

– В чем же дело?

– А его фамилия, любезнейший товарищ Срубов.

– Кто он?



– Клименко. Капитан Клименко – начальник контрразведки армии. Срубов не дал кончить.

– Клименко?

Крутаев доволен. Старческие тухнувшие глаза замаслились хитрой улыбкой.

– Видите, можно сказать, родного брата не щажу.

Срубов записал подробный адрес Клименко. Фамилию, под которой он скрывался.

Уходя, Крутаев небрежно бросил:

– Да, уважаемый товарищ Срубов, дайте мне двести рублей.

– Зачем?

– В возмещение расходов на приобретение карточки.

– Ведь вы же ее у себя дома взяли.

– Нет, у знакомых.

– У знакомых купили?

Крутаев закашлялся. Кашлял долго. На лбу у него надулись синие жилы. Толстый лоб побагровел. Глаза заслезились, покраснели. У Срубова руки на мраморном пресс-папье. В голове – поднять, размахнуться и полковнику в висок. Тот, наконец, прокашлялся.

– Помилуйте, товарищ Срубов, у прислуги купил. Ровно за двести рублей.

Бросил на стол две сторублевки. Крутаев взял и подал руку. Срубов показал глазами на стену: «РУКОПОЖАТИЯ ОТМЕНЕНЫ».

Крутаев опять слащаво растянул губы. Расшаркался в низком поклоне. Стоптанными галошами, прилипая к полу, зашмыгал к двери. А Срубову все хотелось запустить ему в сгорбленную спину пресс-папье.

В раскрытую дверь из коридора шум разговора и топот – чекисты шли в столовую обедать.

Вечером было заседание комячейки. Мудыня и Боже, полупьяные, сидели, бессмысленно улыбались. Соломин, только что вернувшийся с обыска, сосредоточенно тер под носом, слушал внимательно. Ян Пепел сидел с обычной маской серого безразличия на лице. Ежедневно хитря, обманывая и боясь быть обманутым, он научился убирать с лица малейшее отражение своих переживаний, мыслей. Срубов курил трубку, скучал. Докладчик – политработник из батальона ВЧК, безусый парень – говорил о программе РКП в жилищном вопросе.

Рядом в читальне беспартийные красноармейцы из батальона ВЧК играют в шашки, шелестят газетами, курят. А переводчица



Губчека Ванда Клембровская играет на пианино. Красноармейцы прислушиваются, качают головами:

– Не поймешь, чего бренчит.

Звуки каплями дождя в стену, в потолок, глухой капелью по лестницам. Срубову кажется, что идет дождь. Дождь пробивает крышу, потолок, тысячами всплесков стучит по полу. Вспомнил Левитана, Чехова, Достоевского. И удивился: почему? И, уже уходя с собрания, понял: Клембровская играла из Скрябина.







## IV

Руки прятали дрожь в тонких складках платья. Полуопущенные ресницы закрывали беспокойный блеск глаз. Но не могла скрыть Валентина тяжелого дыхания и лица в холодной пудре испуга.

А на полу раскрыты чемоданы. На кровати выглаженное белье четырехугольными стопочками. Комод разинул пустые ящики. Замки в них ощерились плоскими зубами.

– Андрей, эти ночи, когда ты приходишь домой бледный, с запахом спирта и на платье у тебя кровь... Нет, это ужасно. Я не могу, – Валентина не справилась с волнением. Голос ломался.

Срубов показал на спящего ребенка:

– Тише.

Сел на подоконник, спиной к свету. На алом золоте стекол размазалась черная тень лохматой головы и угловатых плеч.

– Андрюша... Когда-то такой близкий и понятный... А теперь вечно замкнутый в себе, вечно в маске... Чужой... Андрюша, – сделала движение в сторону мужа. Неуклюже, боком опустилась на кровать. Белую стопку белья свалила на пол. Схватила за железную спинку. Голову опустила на руки. – Нет, не могу. С тех пор как ты стал служить в этом ужасном учреждении, я боюсь тебя...

Андрей не отозвался.

– У тебя огромная, прямо неограниченная власть, и ты... Мне стыдно, что я жена...

Не договорила. Андрей быстро вытащил серебряный портсигар. Мундштуком папиросы стукнул о крышку с силой, раздраженно. Закурил.

– Ну, договаривай.

В стальных часах после каждого удара маятника хрипела пружина, точно кто шел по деревянному тротуару, четко стучал каблуками здоровой ноги, а другую, больную, шаркая, подволакивал. Маленький Юрка сопел на своей высокой постельке. Валентина молчала. Стекла в окнах стали серыми с желтым налетом. Комод, кровати, чемоданы и корзины оплыли темными опухолями. По углам нависли мягкие драпри теней, комната утратила определенность своих линий, расплывчато округлилась. Андрей видел только огненную точку своей папиросы.

Другая такая же тыкалась ему в сердце, и сердце обожженное болело.

– Молчишь? Ну так я скажу. Тебе стыдно, что разная обывательская сволочинка считает твоего мужа палачом. Да?





Валентина вздрогнула. Голову подняла. Увидела острый красивый глаз папиросы. Отвернулась.

Андрей, не потушив, бросил окурочок. Глаз закололо маленькой огненной булавкой с полу. Закололо больно, как и у Андрея сердце. Валентина закрыла лицо ладонями.

– Не обыватели только... Коммунисты некоторые...

И с отчаянием, с усилием, еле слышно последний довод:

– И мне надоело сидеть с Юркой на одном пайке. Другие умеют, а ты предгубчека – и не можешь...

Андрей сапогом тяжело придавил папиросу. Возмутился. Захотелось наговорить грубостей, захотелось унижить, оплевать ее, оплевавшую и унижившую своей близостью. Срубову стало до боли стыдно, что он женат на какой-то ограниченной мещанке, духовно совершенно чуждой ему. Щелкнул выключателем. Чемоданы, вороха вещей, случайно сваленных в одну комнату. И сами так же. Потому чужие. Сдержался, промолчал. Стал припоминать первую встречу с Валентиной. Что повлекло его к этой слабенькой некрасивой мещанке? Да, да, она унизила его, оскорбила своей близостью потому, что она выдала себя совсем не за ту, какой была в действительности. Она искусно улавливала его мысли, желания, искусно повторяла их, выдавая за свои. Но разве потому только сходятся с женщиной, что ее убеждения, ее мысли тождественны убеждениям и мыслям того, кто с ней сходитя? Пятый год вместе. Какая-то нелепость. Ведь было вот что-то еще, что повлекло к ней? И это что-то есть еще и сейчас, когда она уже решила окончательно уйти от него. Что было это что-то? Срубов не мог объяснить себе.

– Так ты, значит, уезжаешь навсегда?

– Навсегда, Андрей.

И в голосе даже, в выражении лица – твердость. Никогда ранее не замечал.

– Ну что ж, вольному воля. Мир велик. Ты встретила человека, и я встречу...

А самому больно. Отчего больно? Оттого, что уцелело это что-то по отношению к Валентине? Сын. Он общий. Обоим родной. И еще обида. Палач. Не слово – бич. Нестерпимо, жгуче больно от него. Душа нахлестана им в рубцы. Революция обязывает. Да. Революционер должен гордиться, что он выполнил свой долг до конца. Да. Но слово, слово. Вот забиться бы куда-нибудь под кровать, в гардероб. Пусть никто не видит. И самому чтоб – никого.





## V

Срубов видел Ее каждый день в лохмотьях двух цветов – красных и серых. И Срубов думал.

Для воспитанных на лживом пафосе буржуазных резолюций – Она красная и в красном. Нет. Одним красным Ее не охарактеризуешь. Огонь восстаний, кровь жертв, призыв к борьбе – красный цвет. Соленый пот рабочих будней, голод, нищета, призыв к труду – серый цвет. Она красно-серая. И наше – красное знамя – ошибка, неточность, недоговоренность, самообольщение. К нему должна быть пришита серая полоса. Или, может быть, его все надо сделать серым. И на сером красную звезду. Пусть не обманывается никто, не создает себе иллюзий. Меньше иллюзий – меньше ошибок и разочарований. Трезвее, вернее взгляд.

И еще думал: «Разве не захватано, не затаскано это красное знамя, как затаскано, захватано слово «социал-демократ»? Разве не поднимали его, не прятались за ним палачи пролетариата и его революции? Разве оно не было над Таврическим и Зимним дворцами, над зданием самарского Комуча? Не под ним разве дралась колчаковская дивизия? А Гайдеман, Вандервальде, Керенский?..»

Срубов был бойцом, товарищем и самым обыкновенным человеком с большими черными человеческими глазами. А глазам человеческим надо красного и серого, им нужно красок и света. Иначе затоскуют, потускнеют.

У Срубова каждый день – красное, серое, серое, красное, красно-серое. Разве не серое и красное – обыски – разрытый нафталиновый уют сундуков, спугнутая тишина чужих квартир, реквизиции, конфискации, аресты и испуганные перекошенные лица, грязные вереницы арестованных, слезы, просьбы, расстрелы – расколотые черепа, дымящиеся кучки мозгов, кровь? Оттого и ходил в кино, любил балет. Потому через день после ухода жены и сидел в театре на гастролях новой балерины.

В театре ведь не только оркестр, рампа, сцена. Театр – еще и зрители. А когда оркестр запоздал, сцена закрыта, то зрителям нечего делать. И зрители – сотни глаз, десятки биноклей, лорнетов разглядывали Срубова. Куда ни обернется Срубов – блестящие кружочки стекол и глаз, глаз, глаз. От люстры, от биноклей, от лорнетов, от глаз – лучи. Их фокус – Срубов. А по партеру, по ложам, по галерке волнами ветерка еле уловимым шепотом:



– ...Предгубчека... Хозяин губподвала... Губпалач... Красный жан-дарм... Советский охранник... Первый грабитель...

Нервничает Срубов, бледнеет, вертится на стуле, толкает в рот бороду, жует усы. И глаза его, простые человечьи глаза, которым нужны краски и свет, темнеют, наливаются злобой. И мозг его усталый требует отдыха, напрягается стрелами, мечет мысли.

«Бесплатные зрители советского театра. Советские служащие. Знаю я вас. Наполовину потертые английские френчи с вырванными погонями. Наполовину бывшие барыни в заштопанных платьях и грязных, мятых горжетах. Шушукаетесь. Глазки таращите. Шарахаетесь, как от чумы. Подлые душонки. А доносы друг на друга пишете? С выражением своей лояльнейшей лояльности распинаетесь на целых писчих листах. Гады. Знаю, знаю, есть среди вас и пролезшие в партию коммунистички. Есть и так называемые социалисты. Многие из вас с восторженным подвыванием пели и поют – месть беспощадная всем супостатам... Мщение и смерть... Бей, губи их, злодеев проклятых. Кровью мы наших врагов обогрим. И, сволочи, сторонятся, сторонятся чекистов. Чекисты – второй сорт. О подлецы, о лицемеры, подлые белоручки, в книге, в газете теоретически вы не против террора, признаете его необходимость, а чекиста, осуществляющего признанную вами теорию, презираете. Вы скажете – враг обезоружен. Пока он жив – он не обезоружен. Его главное оружие – голова. Это уже доказано не раз. Краснов, юнкера, бывшие у нас в руках и не уничтоженные нами. Вы окружаете ореолом героизма террористов, социалистов-революционеров. Разве Сазонов, Калшев, Балмашев не такие же палачи? Конечно, они делали это на фоне красивой декорации с пафосом, в порыве. А у нас это будничное дело, работа. А работы-то вы более всего боитесь. Мы проделываем огромную черновую, черную, грязную работу. О, вы не любите чернорабочих черного труда. Вы любите чистоту везде и во всем, вплоть до клозета. А от ассенизатора, чистящего его, вы отвертываетесь с презрением. Вы любите бифштекс с кровью. И мясник для вас ругательное слово. Ведь все вы, от черносотенца до социалиста, оправдываете существование смертной казни. А палача сторонитесь, изображаете его всегда звероподобным Малютой. О палаче вы всегда говорите с отвращением. Но я говорю вам, сволочи, что мы, палачи, имеем право на уважение...»

Но до начала так и не досидел, вскочил, пошел к выходу. Глаза, бинокли, лорнеты с боков, в спину, в лицо. Не заметил, что громко сказал – сволочи. И плюнул.

Домой пришел бледный, с дергающимся лицом. Старуха в черном платье и платке, открывавшая дверь, пылливо-ласково посмотрела в глаза:

– Ты болен, Андрюша?



У Срубова бессильно опущены плечи. Взглянул на мать тяжелым измученным взглядом, глазами, которым не дали красок и света, которые потускнели, затосковали.

– Я устал, мама.

На кровать лег сейчас же. Мать гремела в столовой посудой. Собирала ужин. Но Срубову хотелось только спать.

Видит Срубов во сне огромную машину. Много людей на ней. Главные машинисты на командных местах, наверху, переводят рычаги, крутят колеса, не отрываясь смотрят в даль. Иногда они перегибаются через перила мостков, машут руками, кричат что-то работающим ниже и все показывают вперед. Нижние грузят топливо, качают воду, бегают с масленками. Все они черные от копоти и худы. И в самом низу, у колес, вертятся блестящие диски-ножи. Около них сослуживцы Срубова – чекисты. Вращаются диски в кровавой массе. Срубов приглядывается – черви. Колоннами ползут на машину мягкие красные черви, грозят засорить, попортить ее механизм. Ножи их режут, режут. Сырое красное тесто валится под колеса, втаптывается в землю. Чекисты не отходят от ножей. Мясом пахнет около них. Не может только понять Срубов, почему не сырым, а жареным.

И вдруг черви обратились в коров. А головы у них человечьи. Коровы с человечьими головами, как черви, – ползут, ползут. Автоматические диски-ножи не успевают резать. Чекисты их вручную тычут ножами в затылки. И валится, валится под машину красное тесто. У одной коровы глаза синие-синие. Хвост – золотая коса девичья. Лезет по Срубову. Срубов ее между глаз. Нож увяз. Из раны кровью, мясом жареным так и пахнуло в лицо. Срубову душно. Он задыхается.

На столике возле кровати в тарелке две котлеты. Рядом вилка, кусок хлеба и стакан молока. Мать не добудилась, оставила. Срубов проснулся, кричит:

– Мама, мама, зачем ты мне поставила мясо?

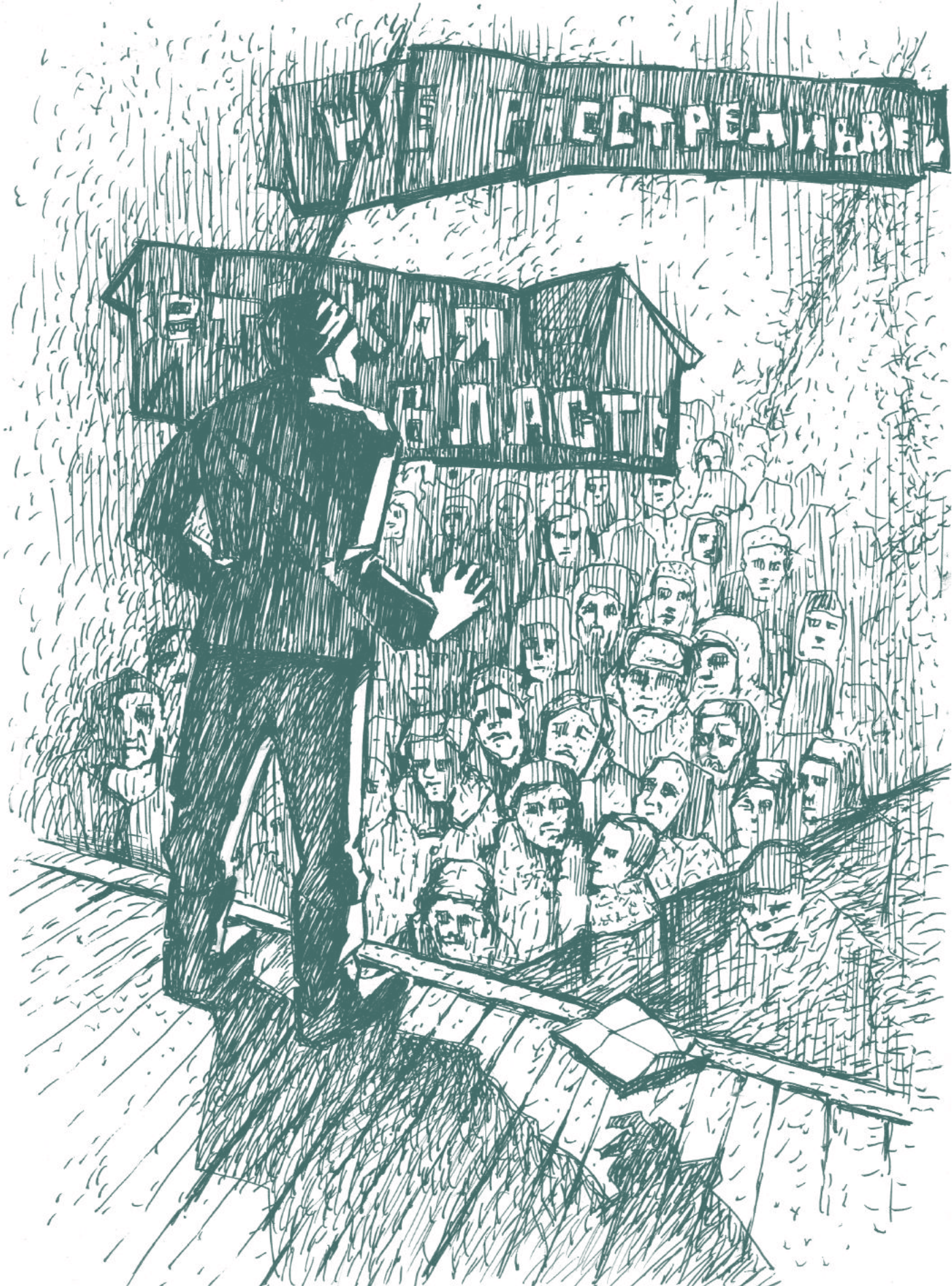
Старуха спит, не слышит.

– Мама!

Против постели трюмо. В нем бледное лицо с острым носом. Огромные испуганные глаза. Всклоченные волосы, борода. Срубову страшно пошевелиться. Двойник из зеркала следит за ним, повторяет все его движения. И он, как ребенок, зовет:

– Мама, мама.

Спит, не слышит. Тихо в доме. Шаркает больная нога маятника. Хрипят часы. Срубов холодеет, примерзает к постели. Двойник напротив. Безумный взгляд настороже. Он караулит. Срубов хочет снова позвать мать. Нет сил повернуть языком. Голоса нет. Только тот, другой, в зеркале беззвучно шевелит губами.





## VI

Товарищ Срубова по гимназии, университету и по партийному подполью Исаак Кац, член Коллегии Губчека, подписал смертный приговор отцу Срубова, доктору медицины Павлу Петровичу Срубову, тому самому Павлу Петровичу, московскому чернобородому доктору в золотых очках, который пригостишку гимназистика Каца шутя трепал за рыжие вихры и звал Иком и которого Кац звал Павлом Петровичем.

И перед расстрелом, раздеваясь в сырой духоте подвала, Павел Петрович говорил Кацу:

– Ика, передай Андрею, что я умер без злобы на него и на тебя. Я знаю, что люди способны ослепляться какой-либо идеей настолько, что перестают здраво мыслить, отличать черное от белого. Большевизм – это временное болезненное явление, припадок бешенства, в который впало сейчас большинство русского народа.

Голый чернобородый доктор наклонил набок голову в вороненом серебре волос, снял очки в золотой оправе, отдал коменданту. Потер руку об руку, шагнул к Кацу.

– А теперь, Ика, позволь пожать твою руку.

И Кац не мог не подать руки доктору Срубову, глаза которого были, как всегда, ласковы, голос которого, как всегда, был бархатно мягок.

– Желаю тебе скорейшего выздоровления. Поверь мне как старому доктору, поверь так, как верил гимназистом, когда я лечил тебя от скарлатины, что твоя болезнь, болезнь всего русского народа, безусловно, излечима и со временем исчезнет бесследно и навсегда. Навсегда, ибо в переболевшем организме вырабатывается достаточное количество антивещества. Прощай.

И доктор Срубов, боясь потерять самообладание, отвернулся, торопливо, сгорбившись, пошел к стенке.

А член Коллегии Губчека Исаак Кац, который был обязан сегодня присутствовать при расстрелах, едва удержался от желания убежать из подвала.

И в ночь расстрела доктора медицины Павла Петровича Срубова член Коллегии Губчека Исаак Кац телеграммой был переведен на ту же должность члена Коллегии Губчека в другой город, в тот, где работал Андрей Срубов. И в первый же день своего приезда Исаак Кац сидел на квартире у Андрея Срубова и пил с Андреем Срубовым кофе. А мать Срубова, блед-



ная старуха с черными глазами, в черном платье и в черном платке, варила кофе, вызывала сына из столовой и в темной прихожей шепотом говорила:

– Андрюша, Ика Кац расстрелял твоего папу, и ты сидишь с ним за одним столом.

Андрей Срубов ладонями рук ласково касался лица матери, шептал:

– Милая моя мамочка, мамулечка, об этом не надо говорить, не надо думать. Дай нам еще по стакану кофе.

И сам не хотел говорить, не хотел думать. Но Ика Кац считал неудобным не говорить и говорил. Говорил, помешивая, позвякивая ложечкой в стакане, внимательно разглядывал свою руку, красноватую, в рыжих волосах, в синих жилах, опуская рыжую кудрявую голову, наклонясь над дымящимся кофе, вдыхая его запах – крепкий, резкий, мешающийся с мягким запахом кипящего молока.

– Никак нельзя было не расстрелять. Старик организовал общество идейной борьбы с большевизмом – ОИБ. Мечтал о таких «оибках» по всей Сибири, хотел объединить в них распыленные силы интеллигенции, настроенной антисоветски. Во время следствия он их звал оибистами...

Говорил, а лица не поднимал от стакана. Срубов слушал, медленно набивал трубку, не смотрел на Каца, чувствуя, что ему не хочется говорить, что говорит он только из вежливости. Срубов убеждал себя, что расстрел отца был необходим, что он, как коммунист-революционер, должен согласиться с этим безоговорочно, безропотно. А глаза тянуло к руке, красными короткими пальцами сжимавшей стакан с коричневой жидкостью, к руке, подписавшей смертный приговор отцу. И с улыбкой натянутой, фальшивой, с усилием тяжелым разжимая губы, сказал:

– Знаешь, Ика, когда один простодушный чекист на допросе спросил Колчака, сколько и за что вы расстреляли, Колчак ответил: «Мы с вами, господа, кажется, люди взрослые, давайте поговорим о чем-нибудь более серьезном». Понял?

– Хорошо, не будем говорить.

Срубова передернуло оттого, что Кац так быстро согласился с ним, что на его лице, бритом, красном, мясистом, с крючковатым острым носом, в его глазах, зеленых, выпуклых, было деревянное безразличие. И когда Кац замолчал, стал пить, громко глотая, у Срубова мысли быстро-быстро, одна за другой. Мысли как оправдание. Перед кем? Может быть, перед Ней, может быть, перед самим собою. В глазах Срубова боль, и стыд, и желание, страстное, непреодолимое, – оправдываться. И если нет смелости вслух, то хотя бы про себя, мысленно оправдываться, оправдываться, оправдываться.

«Я знаю твердо, каждый человек, следовательно, и мой отец – мясо, кости, кровь. Я знаю, труп расстрелянного – мясо, кости, кровь. Но почему страх? Почему я стал бояться ходить в подвал? Почему я та-





рашу глаза на руку Каца? Потому что свобода есть бесстрашие. Потому что быть свободным значит, прежде всего, быть бесстрашным. Потому что я еще не свободен вполне. Но я не виноват. Свобода и власть после столетий рабства – штуки не легкие. Китайке изуродованные ноги разбинтуй – падать начнет, на четвереньках наползается, пока научится по-человечьи ходить, разовьет свои культяпки. Дерзаний-то, замыслов-то, порывов-то у нее, может быть, океан, а культяпки мешают. Культяпки эти, несомненно, и у Наполеона были, и у Смердякова. И у кого из нас не изуродованные ноги? Учиться, упражняться тут, пожалуй, мало – переродиться надо, кожей другой обрасти».

Кац кончил пить. Не опуская стакана, вслух подумал или сказал Срубову:

– Конечно, что говорить, плакать, философствовать. Каждый из нас, пожалуй, может и хныкать. Но класс в целом неумолим, тверд и жесток. Класс в целом никогда не останавливается над трупом – перешагнет. И если мы с тобой рассиропимся, то и через нас перешагнут.

А в это время в Губчека, в подвале № 3 дрожь коленок, тряска рук, щелканье зубов ста двенадцати человек. И комендант, у которого из-под толстого полушубка красные галифе, у которого розовое бритое лицо и в руках белый лист – список, приказывает ста двенадцати арестованным собираться и выходить с вещами. И дрожь, и тряска, и пересыхание глоток, и слезы, и вздохи, и стоны именно оттого, что приказано выходить с вещами. Сто двенадцать участвовали в восстании против советской власти, захвачены с оружием в руках и знают, что их всех расстреляют, думают, если выводят с вещами – выводят на расстрел. И вот сто двенадцать в черных, рыжих овчинах, пахучих шубах, полушубках, в пестрых собачьих, оленьих, козловых, телячьих дохах, пиджаках, в лохматых папах, в длинноухих малахях, в расшитых унтах, в простых катанках, сложив горой вещи в просторной комендантской, идут из подвала, из сырости, из мрака, от крыс, от колебаемых и сырых полок, от страха, от томления предсмертного, от дней полузабытья, от ночей бессонницы, идут в зрительный зал клуба Губчека и батальона ВЧК по светлым широким мраморным ступеням лестниц, по площадкам, на которых часовые как изваянья, а воздух насыщен электрическим светом, нагрет сухим дыханием калориферов. Длинный, пестрый, стоголовый пахучий зверь с мягким шумом катанок и унтов послушно прополз за комендантом в третий этаж, пестрой шкурой накрыл все стулья зрительного зала.

На красном полотнище занавеса сцены надпись: «ОБМАНУТЫМ КРЕСТЬЯНАМ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ НЕ МСТИТ».



По складам, с трудом разобрали и с затаенной радостной надеждой вздохнули, зашевелились, зашептали. Но в зеленых гирляндах сосновых веток по стенам другие надписи, страшные, пугающие, противоречащие:

«СМЕРТЬ ВРАГАМ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ». «СМЕРТЬ АНТАНТЕ И ЕЕ СЛУГАМ».

На пестрой шкуре дрожь, от дрожи складки. И шепот громче, взволнованнее.

– Сме-е-ерть... См... сме-сме-рть... сме-сме-смерть... В зале запаха пота, заношенного белья, портянок, кислых овчин, махорки. Комендант приказал открыть форточку. И пестрый лохматый зверь жадно раздул ноздри, захватил полную грудь свежей сырости тающего снега, крепкого хмеля первого холодного пота земли. Беспokoйно, с тоской завозился зверь, затрещали, заскрипели стулья. Потянуло здорового, сильного к земле, захотелось впитаться в ее черную грудь, припасть к ней большим, потным, мокрым, на работе взмокнувшим телом.

И Срубов, и Кац, когда вошли в залу, увидели на лицах, в глазах арестованных крестьян серую тоску, поняли, что от безделья, от подвальной духоты, от тягостного ожидания смерти, что по земле, по работе она. Срубов быстро, упругими широкими шагами вышел на подмостки сцены. Высокий, в черной коже брюк и куртки, чернобородый, черноволосый, с револьвером на боку, на красном фоне занавеса, он стал как отлитый из чугуна. Смело посмотрел в глаза укрощенному, пестрому сильному зверю. Первое слово-обращение сказал с радостью укротителя, уверенного в победе:

– Товарищи...

Негромко, медленно, чуть нараспев. Как погладил по упрямой жесткой шерсти. Вызвал легкую щекочущую дрожь во всей пестрой шкуре. Как укротитель, спокойно открывающий клетку укрощенного зверя, Срубов спокойно объявил:

– Через час вы будете освобождены.

Радостью огненной, сверкающей блеснули сто двенадцать пар глаз. Взволнованно, радостно зарычал пестрый зверь. А из форточки непрерывным потоком хмель тающего снега. Сильнее, шире раздуваются ноздри, кружит головы весенний угар. И Срубов захмелел от хмельного дыхания близкой весны, от хмельной звериной радости ста двенадцати человек. Расперли грудь большие, набухшие радостью огненные клубы слов. Рассыпались солнечным, сплясавшим дождем искр по пестрой шкуре зверя, щелкая, подпаливая шерсть, забегали колющими красными, синими, зелеными огоньками.

– Товарищи, революция – не разверстка, не расстрелы, не Чека.



В море огня мелькнула черная обуглившаяся фигура расстрелянного отца и исчезла, сгорела.

– Революция – братство трудящихся.

После концерта, спектакля освобожденный пестрый зверь с довольным ворчанием, с топотом, сотнями ног побежал в раскрытые ворота на улицу.

И радостью, беспричинной хмельной звериной радостью жизни опьянели чекисты. И в ту ночь невиданное увидел белый трехэтажный каменный дом с красным флагом, с красной вывеской, с часовыми у ворот и дверей.

Вышли за ворота с хохотом, с громкими криками сотрудники Губчека. Предгубчека мальчишкой забежал вперед, схватил горсть снега, смял и Ваньке Мудыне в рожу. Ванька захлебнулся смехом, взвизгнул.

– Я вам сейчас, товарищ Срубов, председательскую залеплю.

Мудыню поддержал мрачный Боже. Срубову сразу в спину и шею два белых холодных комка. Срубов в кучу чекистов еще ком, и чекисты, как школьники, выскочившие на большую перемену на улицу, с визгом принялись лупить снегом. Ком снега – ком смеха. Смех – снег. И радость неподдельная, беспричинная, хмельная, звериная радость жизни.

Срубова облепили, выбелили с головы до ног. Попало в лицо и неприкосновенным лицам – часовым.

Простились, разошлись усталые, с мокротой за воротниками, с мокрыми покрасневшими горящими руками и щеками.

Срубов на углу пожал руку Каца, посмотрел на него прояснившимися, блестящими черными глазами.

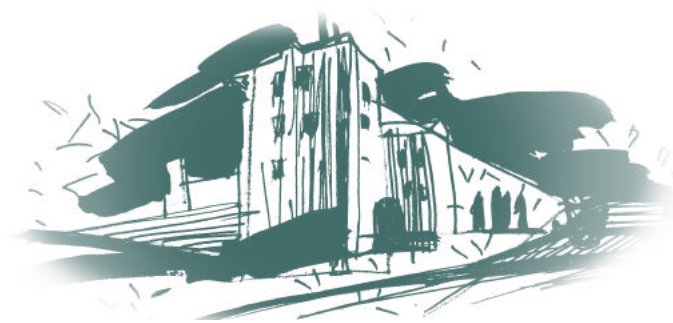
– До свидания, Ика. Все хорошо, Ика. Революция – это жизнь. Да здравствует революция, Ика.

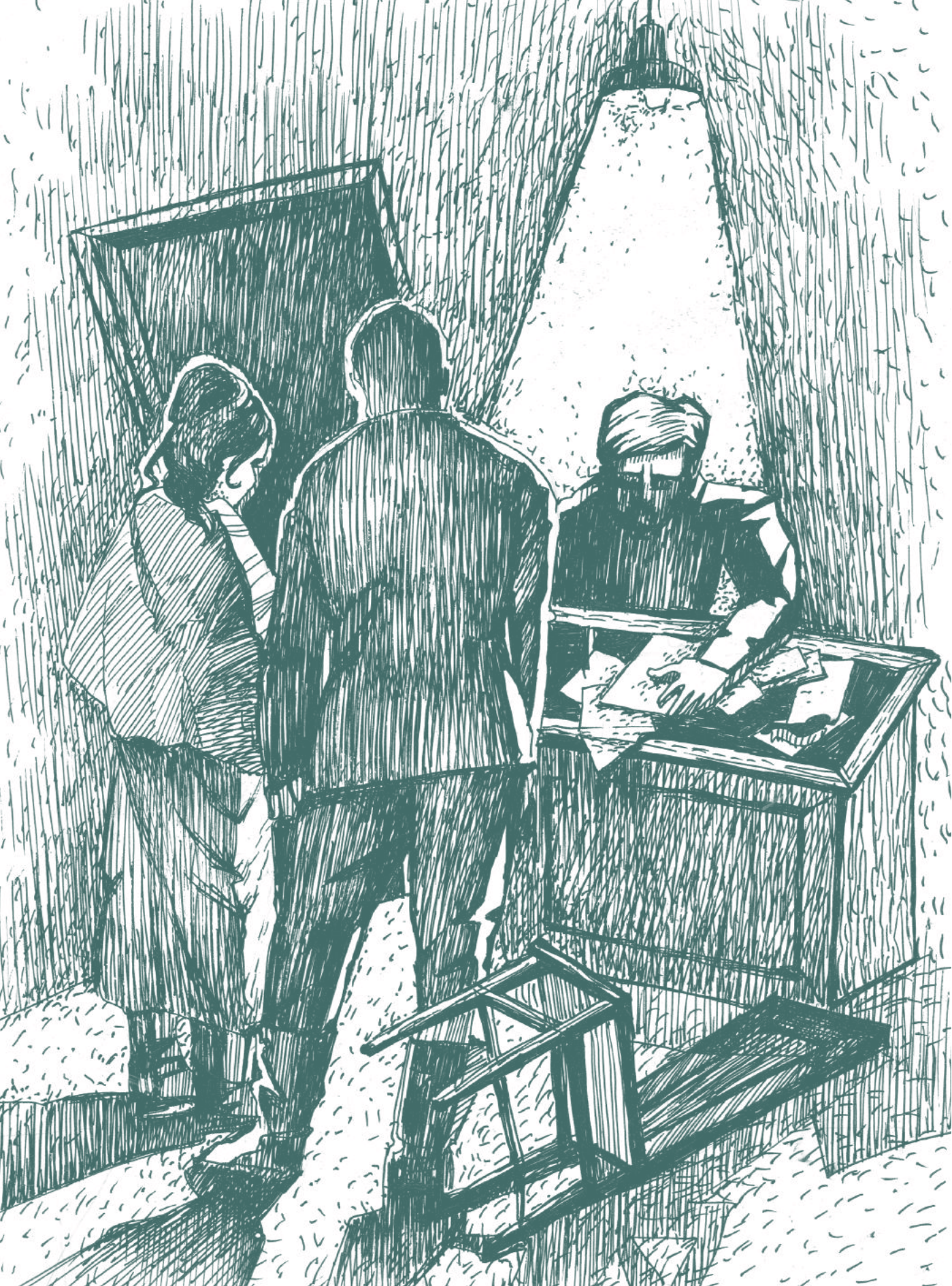
И дома Срубов с аппетитом поужинал. И, вставая из-за стола, схватил печальную черную женщину-мать, закружился с ней по комнате. Мать вырывалась, не знала, сердиться ей или смеяться, кричала, задыхаясь от бешеных туров неожиданного вальса:

– Андрей, ты с ума сошел. Пусти, Андрей...

Срубов смеялся:

– Все хорошо, мамочка. Да здравствует революция, мамочка!







## VII

Допрашиваемый посредине кабинета. Яркий свет ему в глаза. Сзади него, с боков – мрак. Впереди, лицом к лицу – Срубов. Допрашиваемый видит только Срубова и двух конвоиров на границе освещаемого куска пола.

Срубов работал с бумагами. На допрашиваемого никакого внимания. Не смотрел даже. А тот волнуется, теребит хилые, едва пробивающиеся усики. Готовится к ответам. Со Срубова не спускает глаз. Ждет, что он сейчас начнет спрашивать. Напрасно. Пять минут – молчание. Десять. Пятнадцать. Закрадывается сомнение, будет ли допрос. Может быть, его вызвали просто для объявления постановления об освобождении? Мысли о свободе легки, радостны.

И вдруг неожиданно:

– Ваше имя, отчество, фамилия?

Спросил и головы не поднял. Будто бы и не он. Все бумаги перекладывает с места на место. Допрашиваемый вздрогнул, ответил. Срубов и не подумал записать. Но все-таки вопрос задан. Допрос начался. Надо говорить ответы.

Пять минут – тишина. И опять:

– Ваше имя, отчество, фамилия?

Допрашиваемый растерялся. Он рассчитывал на другой вопрос. Запнувшись, ответил. Стал успокаивать себя. Ничего нет особенного, если переспросили. Новая пауза.

– Ваше имя, отчество, фамилия?

Это уже удар молота. Допрашиваемый обескуражен. А Срубов делает вид, что ничего не замечает.

И еще пауза. И еще вопрос:

– Ваше имя, отчество, фамилия?

Допрашиваемый обессилен, раскис. Не может собраться с мыслями. Сидит он на табуретке без спинки. От стены далеко. Да и стену не видно. Мрак рыхлый. Ни к чему не прислониться. И этот свет в глаза. Винтовки конвойных. Срубов, наконец, поднимает голову. Давит тяжелым взглядом. Вопросов не задает. Рассказывает, в какой части служил допрашиваемый, где она стояла, какие выполняла задания, кто был командиром. Говорит Срубов уверенно, как по послужному списку читает. Допрашиваемый молчит, головой кивает. Он в руках Срубова.



Нужно подписать протокол. Не читая, дрожащей рукой выводит свою фамилию. И только отдавая длинный лист обратно, осознает страшный смысл случившегося – собственноручно подписал себе смертный приговор. Заключительная фраза протокола дает полное право Коллегии Губчека приговорить к высшей мере наказания: «...участвовал в расстрелах, порках, истязаниях красноармейцев и крестьян, участвовал в поджогах сел и деревень».

Срубов прячет бумагу в портфель. Небрежно бросает:

– Следующего.

А об этом ни слова. Что был он, что нет. Срубов не любит слабых, легко сдающихся. Ему нравились встречи с ловкими, смелыми противниками, с врагом до конца.

Допрашиваемый ломает руки.

– Умоляю, пощадите. Я буду вашим агентом, я выдам вам всех...

Срубов даже не взглянул. И только конвойным еще раз, настойчиво:

– Следующего, следующего.

После допроса этого жидкоусого в душе брезгливая дрожь. Точно мокрицу раздавил.

Следующий капитан-артиллерист. Открытое лицо, прямой, уверенный взгляд расположили. Сразу заговорил.

– Долго у белых служили?

– С самого начала.

– Артиллерист?

– Артиллерист.

– Вы под Ахлабинным не участвовали в бою?

– Как же, был.

– Это ваша батарея возле деревни в лесу стояла?

– Моя.

– Ха-ха-ха-ха!..

Срубов расстегивает френч, нижнюю рубашку. Капитан удивлен. Срубов хохочет, оголяет правое плечо.

– Смотрите, вот вы мне как залепили.

На плече три розовых глубоких рубца. Плечо ссохшееся.

– Я под Ахлабинным ранен шrapнелью. Тогда комиссаром полка был.

Капитан волнуется. Крутит длинные усы. Смотрит в пол. А Срубов ему совсем как старому знакомому:

– Ничего, это в открытом бою.

Долго не допрашивал. В списке разыскиваемых капитана не было. Подписал постановление об освобождении. Расставаясь, обменялись долгими, пристальными, простыми человеческими взглядами.



Остался один, закурил, улыбнулся и на память в карманный блокнот записал фамилию капитана.

А в соседней комнате возня. Заглушенный крик. Срубов прислушался. Крик снова. Кричащий рот – худая бочка. Жмут обручи-пальцы. Вода в щели. Между пальцев крик.

Срубов в коридор.

К двери.

ДЕЖУРНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ

Заперто.

Застучал, руки больно.

Револьвером.

– Товарищ Иванов, откройте! Взломаю.

Не то выломал, не то Иванов открыл.

Черный турецкий диван. На нем подследственная Новодомская. Белые голые ноги. Белые клочки кружев. Белое белье. И лицо. Уже обморок.

А Иванов красный, мокро-потный.

И через полчаса арестованный Иванов и Новодомская в кабинете Срубова. У левой стены рядом в креслах. Оба бледные. Глаза большие, черные. У правой – на диване, на стульях все ответственные работники. Френчи, гимнастерки защитные, кожаные тужурки, брюки разноцветные. И черные, и красные, и зеленые.

Курили все. За дымом лица серые, мутные.

Срубов посередине за столом. В руке большой карандаш. Говорил и черкал.

– Отчего не изнасиловать, если ее все равно расстреляют? Какой соблазн для рабьей душонки.

Новодомской нехорошо. Холодные кожаные ручки сжала похолодевшими руками.

– Позволено стрелять – позволено и насиловать. Все позволено.. И если каждый, Иванов?..

Взглянул и направо и налево. Молчали все. Посасывали серые папироски.

– Нет, не все позволено. Позволено то, что позволено.

Сломал карандаш. С силой бросил на стол. Вскочил, выпятил лохматую черную бороду.

– Иначе не революция, а поповщина. Не террор, а пакостничанье.

Опять взял карандаш.

– Революция – это не то, что моя левая нога хочет. Революция...

Черкнул карандашом.

– Во-первых...

И медленно, с расстановкой:

– Ор-га-ни-зо-ван-ность.



Помолчал.

– Во-вторых...

Опять черкнул. И так же:

– Пла-но-мер-ность, в-третьих...

Порвал бумагу.

– Ра-а-счет.

Вышел из-за стола. Ходит по кабинету. Бородой направо, бородой налево. Жмет к стенам. И руками все поднимает с пола и кладет кирпич, другой, целый ряд. Вывел фундамент. Цементом его. Стены, крышу, трубы. Корпус огромного завода.

– Революция – завод механический.

Каждой машине, каждому винтику свое.

А стихия? Стихия – пар, не зажатый в котел, электричество, грозой гуляющее по земле.

Революция начинает свое поступательное движение с момента захвата стихии в железные рамки порядка, целесообразности. Электричество тогда электричество, когда оно в стальной сетке проводов. Пар тогда пар, когда он в котле.

Завод заработал. В него. Ходит между машинами, тычет пальцами.

– Вот наша. Чем работает? Гневом масс, организованным в целях самозащиты...

Крепкими железными плиточками, одна к одной в головах слушателей мысли Срубова.

Кончил, остановился перед комендантом, сдвинул брови, постоял и совершенно твердо (голос не допускает возражений):

– Сейчас же расстреляйте обоих. Его первого. Пусть она убедится.

Чекисты с шумом сразу встали. Вышли, не оглядываясь, молча. Только Пепел обернулся в дверях и бросил твердо, как Срубов:

– Это есть правильно. Революция – никакой философий.

У Иванова голова на грудь. Раскрылся рот. Всегда ходил прямо, а тут закосолапил. Новодомская чуть вскрикнула. Лицо у нее из алебаstra. Ничком на пол, без чувств. Срубов заметил ее рваные высокие теплые галоши (крысы изъели в подвале).

Взглянул на часы, потянулся, подошел к телефону, позвонил:

– Мама, ты? Я иду домой.

За последнее время Срубов стал бояться темноты. К его приходу мать зажгла огонь во всех комнатах.





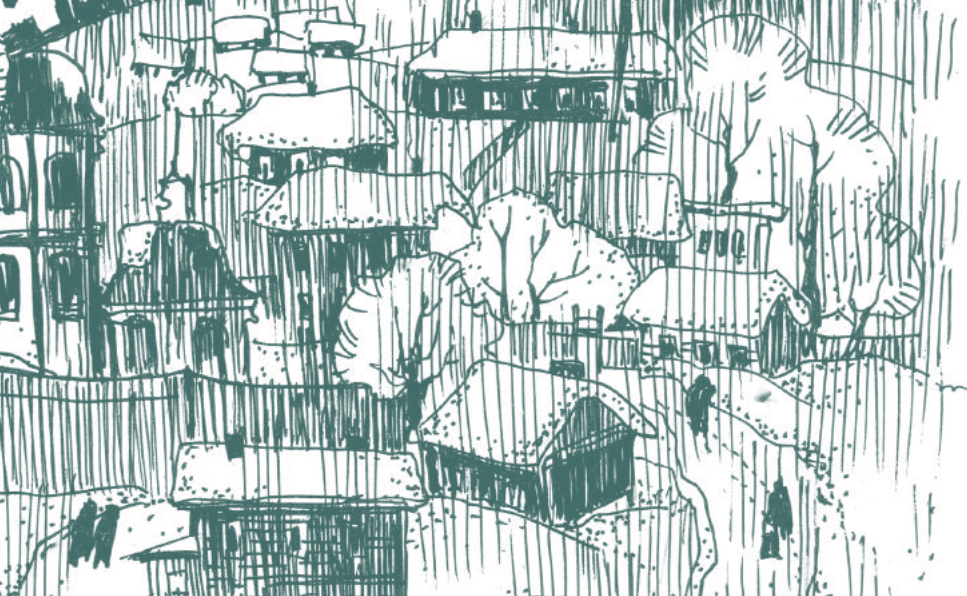
ЗА СВОЮ СТРАНУ

ДЕМОНСТРАЦИЯ

СТРАННИЦАМ НЕЛЬЗЯ!

ВСЯ РАБОЧАЯ

ДАРАЕТСЯ РЕБЯТАМ





## VIII

Срубов видел диво – Белый и Красный ткали серую паутину будней. Его, Срубова, будней.

Белый тянул паутину от учреждения к учреждению, от штаба к штабу, клал узкие, крепкие петли вокруг бывшего трехэтажного каменного дома, стягивая концы в одно место, за город, в гнилой домишко караульщика губземотдельских огородов. Белый плел паутину ночами, по темным задворкам, по глухим переулкам, прятался от Красного, думал, что Красный не видит, не знает.

Красный вил паутинную сетку параллельно сетке Белого – нить в нить, узел в узел, петлю в петлю, но концы стягивал в другое место – в белый трехэтажный каменный дом. Красный вил и днем и ночью, не прерывал работу ни на минуту. Прятался от Белого, был уверен, что Белый не видит, не знает.

У Белого и у Красного напряженная торопливость работы, у каждого надежда на крепость своей паутины, расчет своей паутиной опутать, порвать паутину другого.

А именно в торопливости, напряженности, настороженности – в близкой пуганице паутины своей и чужой – будни Срубова. Не спать неделями или спать не раздеваясь, на стуле за столом, на столе, в санях, в седле, в автомобиле, в нагоне, на тормозе, есть всухомятку, на ходу, принять, встретить, опросить, проинструктировать десятки агентов, прочесть, написать, подписать сотни бумаг, еле держать голову, еле таскать ноги от усталости – будни. И так вот, не раздеваясь, засыпая за столом в кресле или ложась на час, на два на диван, в непрерывной грязной лавине людей, в белых горах бумаги, в сине-серых облаках табачного дыма Срубов работал восьмью сутками. (Вообще же служба в ЧК красно-серое, серо-красное. Красный и Белый, Белый и Красный. И бесконечная пуганица паутины – третий год.)

И вот когда все приготовления сделаны, все распоряжения отданы, паутинка чужая прочно оплетена паутиной своей, когда сотрудники с ордерами, с мандатами посланы куда следует и сделают все как следует и когда следует, когда в белом трехэтажном доме тихо и пусто (только в нижнем этаже оставлена рота батальона ВЧК), когда в ночь с восьмого на девятое нужно ждать результатов горячечной работы последней недели, когда до начала облавы, обысков, арестов осталось ровно два часа, когда хочется спать, глаза красны – раскрыть на столе папку черного сафьяна и одним пальцем рыться в стопках бумажных клочков, обрывков, перечитывать клочки, обрывки мыслей, подпирать рукой тяжелую голову, зевать, курить.



Большой лист графленой бумаги.

«Во Франции были гильотина, публичные казни. У нас подвал. Казнь негласная. Публичные казни окружают смерть преступника, даже самого грозного, ореолом мученичества, героизма. Публичные казни агитируют, дают нравственную силу врагу. Публичные казни оставляют родственникам и близким труп, могилу, последние слова, последнюю волю, точную дату смерти. Казненный как бы не уничтожается совсем.

Казнь негласная, в подвале, без всяких внешних эффектов, без объявления приговора, внезапная, действует на врагов подавляюще. Огромная, беспощадная, всевидящая машина неожиданно хватается свои жертвы и перемалывает, как в мясорубке. После казни нет точного дня смерти, нет последних слов, нет трупа, нет даже могилы. Пустота. Враг уничтожен совершенно».

Бланк – председатель Губернской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контр... Далее вырван неровный лоскут. На уцелевшей полоске записано:

1. В 9 ч. в. свидание с Арутьевым.
2. Спросить завхоза, почему в этом м-це выдали тухлое сало.
3. Завтра общегородское собрание.
4. Юрасику на штанишки и чего-нибудь сладкого».

Подписанный протокол обыска. На чистом конце синим карандашом: «Террор необходимо организовать так, чтобы работа палача-исполнителя почти ничем не отличалась от работы вождя-теоретика. Один сказал – террор необходим, другой нажал кнопку автомата-расстреливателя. Главное, чтобы не видеть крови.

В будущем «просвещенное» человеческое общество будет освобождаться от лишних или преступных членов с помощью газов, кислот, электричества, смертоносных бактерий. Тогда не будет подвалов и «кровожадных» чекистов. Господа ученые с ученым видом совершенно бесстрашно будут погружать живых людей в огромные колбы, реторты и с помощью всевозможных соединений, реакций, перегонки начнут обращать их в вакуум и вазелин, в смазочное масло.

О, когда эти мудрые химики откроют для блага человечества свои лаборатории, тогда не нужны будут палачи, не будет убийства, войн. Исчезнет и слово «жестокость». Останутся одни только химические реакции и эксперименты...»

Из блокнота.

1. Сдать в газету приказ о регистрации нарезного оружия.
2. Посоветоваться с Начосо.
3. Мысли о терроре систематически записывать. Когда будет время – написать книгу.
4. Поговорить с профессором Беспалых об электронах.



Обрывок глянцевиной бумаги для черчения. Чертеж автомата-расстреливателя.

На внутренней стороне использованного пакета мелко красными чернилами:

«Наша работа чрезвычайно тяжела. Недаром наше учреждение носит название чрезвычайной комиссии. Бесспорно, и не все чекисты люди чрезвычайные. Однажды высокопоставленный приятель сказал мне, что чекист, расстрелявший пятьдесят контрреволюционеров, достоин быть расстрелянным пятьдесят первым. Очень мило. Выходит так – мы люди первого сорта, мы теоретически находим террор необходимым. Хорошо. Примерно получается такая картина – существуют насекомые – вредители хлебных злаков. И есть у них враги – такие же насекомые. Ученые-агрономы выпускают вторых на первых. Вторые пожирают первых. Хлебец целиком попадает в руки агрономов. А несчастные истребители больше не нужны и к числу спокойно кушающих белые булочки причислены быть не могут».

Но если голова тяжела, глаза красны и сон свинцом наваливается на плечи, на спину – сложить, закрыть черную папку грудью, лицом, бородой на нее и спать, спать, спать.

А за окнами в синем мраке шмыгающий топот ног, хруст льдинок невидимых лужиц, гул голосов, шорох толпы, гудящие волны идущих к утрени. На соборной колокольне колокол, самый большой и старейший, серо-зеленый от старости, черным железным языком лениво лизал медные серо-зеленые губы, ворчал: «О-о-о-мим-о-о-омим-о-о-омим...»

В кабинете табак, духота, яркий свет электрической люстры и дрожь непрерывная, звонкая дрожь молоточка телефонного звонка. К Срубову в оба уха ползли металлические мухи: «Ж-ж-ж-др-р-р-др-р-р-р-ж-ж-ж...»

Добились своего – разбудили. Голова еще тяжелей, веки слиплись. Горько, сухо во рту. Но мысль сразу верная, ясная – началось.

И началось. Левая рука не отпускает трубку от уха. По телефону – донесения, по телефону – распоряжения. На столе карта города. Глаза на ней. Правая рука ставит крестики над захваченными районами, конспиративными квадратами, складами оружия, рвет, сечет короткими косыми черточками тонкую запутанную паутину Белого. У Срубова на губах горькая, ироническая усмешка.

Над городом сырая синь ночи, огни иллюминированных церквей, ликующий пасхальный звон, шуршащие шаги толп, поцелуи, христосование. Христос воскрес! И над городом с горькой усмешкой, со злыми глазами стоит Она – оборванная, полуголодная, властно, тяжело босой ногой наступает на сусальную радость христосующихся, на белые сладкие пирамидки творога и куличей. Потухли горшки, плоски на церковных карнизах, заглух звон, затих шорох шагов, топот сбежавших, спрятавшихся по



домам. Над городом молчание, напряженная тишина, жуть, и в черной синеве весенней ночи синева Ее зорких гневных глаз.

Срубов не усидел в кабинете. Отозвал с облавы Каца, усадил в свое кресло и на автомобиле помчался по городу. Торжествующим ревом с фырканием, сверкая глазищами фонарей, заметался по улицам сильный стальной зверь. Но Белого не было. Белый забился на задворки, в темные углы, в подполье.

Остался в памяти арест главаря организации – караульщика губземагтедльских огородов Ивана Никифоровича Чиркалова, бывшего колчаковского полковника Чудаева. Полковник держался гордо, спокойно. Не утерпел, съязвил:

– Христос воскрес, господин полковник.

И, сажая к себе в автомобиль, добавил:

– Эх, огородник, сажал редьку – вырос хрен.

Чудаев молчал, натягивая на глаза фуражку. Испуганные дамы в нарядных платьях, мужчины в сюртуках, сорочках. Соломин – невозмутимо спокойный, шмыгающий носом, разрывающий нафталиновый покой сундуков.

– Сказывайте, сколь вас, буржуев. Кажинному по шубе оставим. Лишки заберем.

И еще, когда осматривал кучи отобранного оружия, гордо, радостно забилося сердце, крепкая красная сила разлилась по всем мускулам.

Остальное – ночь, день, улицы, улицы, цепочки, цепи патрулей, ветер в ушах, запах бензина, дрожь сиденья автомобиля, хлопанье дверцы, слабость в ногах, шум, тяжесть в голове, резь в глазах, квартиры, комнаты, углы, кровати, люди – бодрствующие, со следами бессонницы на серых лицах, заспанные, удивленные, спящие, испуганные, чекисты, красноармейцы, винтовки, гранаты, револьверы, табак, махорка и серо-красное, красно-серое и Белый, Красный и Красный, Белый. И после ночи, дня и еще ночи нужно было принимать посетителей, родственников арестованных.

Просили все больше об освобождении. Срубов внимателен и равнодушен. Сидит он хотя и в кресле, но на огромной высоте, ему совершенно не видно лиц, фигур посетителей. Двигаются какие-то маленькие черные точки – и все.

Старуха просит за сына, плачет:

– Пожалейте, единственный...

Падает на колени, щеки в слезах, мокрые. Утирается концом головного платка. Срубову кажется ее лицо не больше булавочной головки. Кланяется старуха в ноги. Опускает, поднимает голову – светлеет, темнеет электрический шарик булавки. Звук голоса едва долетел до слуха:

– Единственный.



Но что он может сказать ей? Враг всегда враг – семейный или одинокий – безразлично. И не все ли равно – одной точкой больше или меньше.

Сегодня для Срубова нет людей. Он даже забыл об их существовании. Просьбы не волнуют, не трогают. Отказывать легко.

– Нам нет дела, единственный он у вас или нет. Виноват – расстреляем.

Одна булавочная головка исчезла, другая вылезла.

– Единственный кормилец, муж... пять человек детей.

Старая история. И этой так же.

Семейное положение не принимается в расчет.

Булавка краснеет, бледнеет. Лицо Срубова, неподвижно-каменное, мертвенно-бледное, приводит ее в ужас.

Выходят, выходят черные точки-булавки. Со всеми одинаков Срубов – неумолимо жесток, холоден.

Одна точка придвинулась близко, близко к столу. И когда снова отошла, на столе осталась маленькая темная кучка. Срубов медленно сообразил – взятку сунул. Не спускаясь со своей недостигаемой высоты, бросил в трубку телефона несколько слов-ледышек. Точка почернела от испуга, бестолково залепетала:

– Вы не берете. Другие ваши берут. Случалось...

– Следствие выяснит, кто у вас брал. Расстреляем и бравших у вас.

Были и еще посетители – все такие же точки, булавочные головки. Во все время приема чувствовал себя очень легко – на высоте непомерной. Немного только озяб. От этого, вероятно, каменной белизной покрывлось лицо.

Родные, родственники, близкие могли, конечно, униженно просить, дрожать, плакать, стоять в очереди с бедными узелками передач, передавать арестованным сладкие пасхи, сдобные куличи, крашенные яйца – белый трехэтажный каменный дом неумолим, тверд. Жесток, строго справедлив, как часовой механизм и его стрелки.

Родные могли еще приходиться со сдобным и сладким, когда арестованные, сфотографированные с меловым номером на груди, уже прошли свой путь из подвала № 3 в тюрьму, из тюрьмы связанными в подвал № 2, из него в № 1 и, следовательно, на кладбище, когда на дворе в помойке дымились черновики их дел, уже сданных в архив (черновики, обрывки, выметенные за день из отделов, в Губческа всегда жглись), когда желтые, жирные, голохвостые крысы огрызали крепкими зубами, острыми красными язычками вылизывали их кровь.

Белый трехэтажный каменный дом с красным флагом, с красной вывеской, с часовыми равнодушно скалил чугунные зубы ворот, высовывал из подворотни красные кровавые языки в белой слюне известки (в теплое время кровь, натекшую с автомобилей, увозящих трупы, всегда присыпали известью). Он не знает горя ни тех, кто работает в нем, ни тех, кого приводят в него, ни тех, кто приходит к нему.





## IX

На заседании Коллегии окончательно выяснилась такая схема белогвардейской организации.

Группа А – пятнадцать пятерок, активнейшие строевые колчаковские офицеры, главным образом из числа служащих советских учреждений. Ее задача – взять партшколу и артсклад.

Группа Б – десять пятерок, бывшие офицеры, бывшие торговцы, мелкие предприниматели, лавочники, служащие в солдатах, несколько человек из комсостава Красной Армии. Задача – взять телеграф, телефонную станцию, Губисполком.

Группа В – семь пятерок, сброд. Задача – вокзал.

После захвата назначенных пунктов и выделения достаточного количества постов для их охраны соединение всех групп, ставка на переход некоторых красноармейских частей, атака Губчека, бой с войсками, верными советской власти.

Организация, кроме тридцати двух пятерок, имела много сочувствующих, помогающих, исполняющих вторые роли.

На заседании Коллегии Срубов чувствует себя очень хорошо. Он на огромной высоте. А люди – где-то далеко, далеко внизу. И с высоты именно он увидел как на ладони всю хитрую пуганицу паутины Белого, разорвал ее. Срубов полон гордого сознания своей силы.

Следователь докладывает:

– ...активный член организации, его задачей...

Слушали все внимательно. В кабинете совершенно тихо. У Каца насморк. Слышно, как он сдержанно сопит. Прерывисто мигает электрическая лампочка.

Следователь кончил. Молчит, смотрит на Срубова. Срубов ему вопрос:

– Ваше заключение?

Следователь трет руку об руку, поводит плечами, ежится:

– Полагаю, высшую меру наказания.

Срубов кивает головой. И ко всем:

– Имеется предложение – расстрелять. Возражения? Вопросы?

Моргунов покраснел, макнул усы в стакан с чаем.

– Ну, конечно.

– Стрельнули, значит?

Срубову весело. Кац, сморкаясь, подтвердил:





– Стрельнули.

– Следующего.

Следователь проводит рукой по черной щетине волос, начинает новый доклад.

– Поставщиком оружия для организации являлся...

– Этого как, товарищи?

Кац опустил голову, полез в карман за носовым платком. Пепел сосредоточенно закурил. Моргунов задумчиво помешивал ложечкой в стакане чай. Казалось, что никто ничего не слышал. Срубов помолчал. Потом громко и решительно сказал за всех:

– Принято.

Фамилии, фамилии, фамилии, чины, должности и звания. Один раз Моргунов возразил, стал доказывать:

– По-моему, этот человек не виноват...

Срубов его остановил решительно и злобно:

– Ну, вы, миндаль сахарный, замолчите. Чека есть орудие классовой расправы. Поняли? Если расправы, так, значит, – не суд. Персональная ответственность для нас имеет значение безусловное, но не такое, как для обычного суда или Ревтрибунала. Для нас важнее всего социальное положение, классовая принадлежность. И только.

Ян Пепел, энергично подняв сжатые кулаки, поддержал Срубова:

– Революция – никакой философии. Расстрелять.

Кац тоже высказался за расстрел и стал усиленно сморкаться. Срубов на огромной высоте. Страха, жестокости, непозволенного – нет. А разговоры о нравственном и безнравственном, моральном и аморальном – чепуха, предрассудки. Хотя для людишек-булавочек весь этот хлам необходим. Но ему, Срубову, к чему? Ему важно не допустить восстания этих булавонок. Как, каким способом – безразлично.

И одновременно Срубов думает, что это не так. Не все позволено. Есть граница всему. Но как не перейти ее? Как удержаться на ней?

Бледнело лицо. Между бровей складки. Срубов не слушал докладчика-следователя. Думал, как остановиться на предельной точке дозволенного. И где она? На чем-то очень остром стоял одной ногой, другой и руками пытался сохранить равновесие. Удавалось с трудом. И только, кажется, уже к концу заседания обеими ногами встал устойчиво, твердо. Очень обрадовался, нашел способ удержаться на предельной черте. Все зависит, оказывается, от остроконечной, трехгранной пирамидки. Ее, конечно, присутствие и обнаружил у себя в мозгу. Она железной твердости и чистоты. Ее состав – исключительно критикующие и контролирующие электроны. Улыбаясь, погладил себя по голове. Волосы прижал поплотнее к черепу, чтобы не выскочила драгоценная пирамидка. Успокоился.



Под протоколом подписался первым. Четко, крупными кольцами с нажимом подписал – Срубов, от «о» протянул тонкую ниточку и прикрепил ее к концу толстой длинной палки, заменившей букву «в». Вся подпись – кусок перекрученной деревянной стружки, нацепленной на кол. Члены Коллегии на секунду замешкались. Каждый ждал, что кто-нибудь другой первый возьмет перо.

Ян Пепел решительно схватил ручку Срубова. Против слова «Члены» быстро нацарапал – Ян Пепел.

Срубов мрачно сдвинул брови. От белого листа протокола в лицо холод снежной ямы. Живому неприятно у могилы. Она чужая. Но она под ногами. Между фамилией последнего приговоренного и подписью Срубова – один сантиметр. Сантиметром выше – и он в числе смертников. Срубов даже подумал, что машинистка при переписке может ошибиться, поставить его в ряд с теми.

А когда собрались расходиться, внимание привлек стриженный затылок Каца. Невольно пошутил:

– Какой у тебя, Ика, шикарный офицерский затылок – крутой, широкий. Не промахнешься.

Кац побледнел, нахмурился. Срубову неловко. Не глядя друг на друга, не простившись, вышли в коридор.

Последний лист бумаги (последние вспышки гаснущего рассудка), положенный Срубовым в черную папку, был мятый, неровно оторванный, с кривыми узловатыми синими жилами строк.

«Если расстреливать всю Чиркаловскую-Чулаевскую организацию пятерками в подвале, потребовалось бы много времени. Чтобы ускорить, вывел больше половины за город. Сразу всех раздели, поставили на краю канавы-могилы. Боже просил разрешения разграфить (зарубить шашками) – отказали. Стреляли сразу десять человек из револьверов в затылки. Некоторые приговоренные от страха садились на край канавы, свешивали в нее ноги. Некоторые плакали, молились, просили пощадить, пытались бежать. Картина обычная. Но кругом была конная цепь. Кавалеристы не выпустили ни одного – порубили. Крутаев выл, требовал меня – «Позовите товарища Срубова! Имею ценные показания. Приостановите расстрел. Я еще пригожусь вам. Я идейный коммунист». И когда я подошел к нему, он не узнал меня, бессмысленно тарачил глаза, ревел – «Позовите товарища Срубова!» Все-таки пришлось расстрелять его. Обнаружилось у него уж слишком кровавое прошлое, надоели заявления на него, да к тому же все, что мог дать нам, он дал.

Но все же меня поразило, привело в восторг большинство этих людей. Видимо, революция выучила даже умирать с достоинством.



Помню, еще мальчишкой я читал, как в японскую войну казаки заставили хунхузов рыть могилы, сажали их на край и поочередно, поодиночке отрубали им головы. Меня восхищало это восточное спокойствие, невозмутимость, с которым ожидали смертельного удара. И теперь я прямо залюбовался, когда освещенная луной длинная шеренга голых людей застыла в совершенном безмолвии и спокойствии, как неживая, как ряд гипсовых алебастровых статуй. Особенно твердо держались женщины. И надо сказать, что, как правило, женщины умирают лучше мужчин.

Из ямы кто-то закричал: «Товарищи, добейте!» Соломин прыгнул в яму на трупы, долго ходил по ним, переворачивал, добивал. Стрелять было все-таки плохо. Ночь была хотя и лунная, но облачная.

Когда луна осветила окровавленные лица расстрелянных, лица трупов, я почему-то подумал о своей смерти. Умерли они – умрешь и ты. Закон земли жесток, прост – родись, роди, умирай. И я подумал о человеке – неужели он, сверлящий глазами телескопов эфир Вселенной, рвущий границы земли, роющийся в пыли веков, читающий иероглифы, жадно хватающийся за настоящее, дерзко метнувшийся в будущее, он, завоевавший землю, воду, воздух, – неужели он никогда не будет бессмертен? Жить, работать, любить, ненавидеть, страдать, учиться, накопить массу опыта, знаний и потом стать зловонной падалью... Нелепость...

Возвращались мы с восходом солнца. Проходя к автомобилю, я наступил ногой на муравейник. Десятки муравьев впились мне в сапоги. Я ехал и думал: козявка и та вступает в смертельный бой за право жить, есть, родить. Козявка козявке грызет горло. А мы вот философствуем, нагромоздили разных отвлеченных теорий и мучаемся. Пепел говорит: «Революция – никакой философии». А я без «философии» ни шагу. Неужели это только так и есть... родись, роди, умри?»







## Х

Потом была койка в клиниках для нервнобольных. Был двухмесячный отпуск. Было смещение с должности предгубчека. Была тоска по ребенку. Был длительный запой. Много было за несколько месяцев.

И вот теперь этот допрос. Срубов худой, желтый, под глазами синие дуги. Кожаный костюм надет прямо на кости. Тела, мускулов нет. Дыхание прерывистое, хриплое.

А допрашивает Кац. Лицо у него – круглый чайник. Нос – дудочка острая, опущенная вниз. Хочется встать и с силой ткнуть большим пальцем в ненавистную дудочку, заткнуть ее. И ведь сидит, начальство из себя разыгрывает за его же столом. Ручку белую слоновой кости схватил красной лапой, в чернилах всю вымазал. А допрос – пытка. Да хотя бы уж допрашивал. Куда там – лекцию читает: авторитет партии, престиж ЧК. И все дудочкой кверху, кверху, как в самое сердце сует ее, ковыряет.

Рвет Срубов бороду. Зубы стискивает. Глазами огненными, ненавидящими Каца хватает. По жилам обида кислотой серной. Жжет, вертит. Не выдержал. Вскочил и бородой на него:

– Понял ты, дрянь, что я кровью служил революции, я все ей отдал, и теперь лимон выжатый. И мне нужен сок. Понял, сок алкоголя, если крови не стало.

На мгновенье Кац, следовательно, предгубчека, обратился в прежнего Ику. Посмотрел на Срубова ласковыми большими глазами.

– Андрей, зачем ты сердишься? Я знаю, ты хорошо служил ей. Но ведь ты не выдержал?

И оттого, что Кац боролся с Икой, оттого, что это было больно, с болью сморщившись, сказал:

– Ну, поставь себя на мое место. Ну, скажи, что я должен делать, когда ты стал позорить ее, ронять ее достоинство?

Срубов махнул рукой – и по кабинету. Кости хрустят в коленях. Громко шуршали кожаные штаны. На Каца не смотрит. Стоит ли обращать внимание на это ничтожество? Перед ним встала Она – любовница великая и жадная. Ей отдал лучшие годы жизни. Больше – жизнь целиком. Все взяла – душу, кровь и силы. И ничего, обобранного отшвырнула. Ей, ненасытной, нравятся только молодые, здоровые, полнокровные. Лимон выжатый не нужен более. Обьедки в мусорную яму. Сколько позади Ее на пройденном пути



валяется таких, выпитых, обессилевших, никому не нужных. Видит Срубов ясно Ее, жестокую и светлую. Проклятия, горечь разочарования комком жгучим в лицо Ей хочет бросить. Но руки опускаются. Бессилен язык. Видит Срубов, что Она сама – нищая, в крови и лохмотьях. Она бедна, потому и жестокая.

Но инвалид, объедок еще жив и жить хочет. А мусорщик с метлой уже пришел. Вон сидит – дудочка кверху. Нет, он не хочет в яму. Его решили уничтожить. Не удастся. Он сумеет скрыться. Не найдут. Жить, жить... Пусть остается на столе фуражка. С хитрой ядовитой улыбкой к Кацу:

– Гражданин предгубчека, я еще не арестован? Разрешите мне выйти в клозет?

И в дверь. И по коридору почти бегом. А Кац, ставший опять Кацем, предгубчека, краснеет от стыда за минутную слабость. С силой крутит ручку телефона, справляется у начальника тюрьмы, есть ли свободная одиночка. Закуривает, ждет Срубова, твердо, спокойно подписывает постановление о его аресте.

Но Срубов уже на улице. На тротуарах людно и тесно. По середине дороги длинные костлявые ноги разбрасывал широко. Руками махал. Волосы на ветру торчком в разные стороны. Любопытные останавливались и показывали пальцами. Ничего не видел. Помнил только, что надо бежать. Несколько раз сворачивал за углы. Названия улиц, номера домов не играли роли. Важно было только скрыться. Задышался, падал, вставал и снова дальше. Хлопали, открывались какие-то двери. Росла надежда, что побег удастся. Не догонят...

И вдруг неожиданно, как несчастье, черная непроницаемая стена загородила дорогу. А за спиной двойник. Он, оказывается, гнался все время следом. Не оглядывался – не видел. Теперь он доволен – догнал. Вон ртом хватает воздух, как рыба, и рожу кривит.

Срубов не понимал, что он у себя на квартире стоит перед трюмо.

Страха перед двойником не было на этот раз. Моментально решил его уничтожить. Топор от печки сам прыгнул в руки. Со всего размаха двойника по лицу. Насквозь – от правого глаза к мочке левого уха. А он, дурак, в последнюю секунду еще засмеялся, захохотал. Так с хохотом и рассыпался по полу сверкающими кусками.

Один враг уничтожен. Теперь стена. Напрасно воображают поставить его к ней. Расстрелять его никому не удастся. Он обманет всех. Пусть думают, что он раздевается, а он ее топором. Прорубит и убежит.

Сзади в дверях бледное испуганное лицо матери.

– Андрюша, Андрюша.



Осыпалась штукатурка. Желтый бок бревна. Щепки летят. Еще и еще сильнее. Топор соскочил с топорщица. Черт с ним. Зубы-то на что? Зубами, когтями прогрызет, процарапает и убежит.

– Андрей Павлович, Андрей Павлович, что вы делаете?

Кто это тянет его за плечи? Надо посмотреть. Может быть, двойник опять поднялся с полу. Не насмерть его, значит, убил. Срубов пристально смотрит в глаза маленькому коренастому черноусому человеку. Ага, квартирант Сорокин. Обывателишка, в собесе служит. Надо держать себя с достоинством, подальше от этой дряни. Гордо поднял голову:

– Прошу, во-первых, не фамильярничать, не прикасаться ко мне грязными ручишками. Во-вторых, запомните, я коммунист и христианских имен, разных Андреев блаженных и Василиев первозванных или как там... Ну да, не признаю. Если вам угодно обращаться ко мне, то пожалуйста – мое имя Лимон...

Отчего-то сразу устал. Голова кружится. Сил нет. Угорел, что ли? Проехать бы на автомобиле за город. Пожалуй, надо помучить этого обывателишку. Оказывается, согласен, даже рад. И мать тоже тут, улыбается, головой кивает.

– Прокатись, Андрюша, прокатись, родной.

В прихожей разрешил надеть на себя пальто. На голову самое легкое кепи. Чем легче, тем лучше. В дверях обернулся. Мать что-то плачет. Вся дрожит, трясется.

– Мама, не забудь сегодня Юрику на завтрак котлетку...

Ничего не ответила, плачет. Автомобиль двигался почему-то не бензином, а конной тягой. Да и тащила его какая-то заморенная клячонка. Ну, все равно. Главное, чтобы сидеть. И Сорокин ничего, можно даже поговорить с ним.

– Сорокин, вы знаете, я ведь с механического завода. Рабочий. Двадцать четыре часа в сутки.

Все-таки сидеть трудно. Может быть, можно лечь? Надо спросить.

– Сорокин, кровать далеко? Я смертельно устал.

Ну и тип этот Сорокин. Чурбан с глазами. Молчит. Плохой кавалер – за талию сгреб, как медведь.

Из-за угла люди с оркестром, с развернутым красным знаменем. Оркестр молчит. Резкий, четкий стук ног.

В глазах Срубова красное знамя расплывается красным туманом. Стук ног – стук топоров на плотях (он никогда не забудет его). Срубову кажется, что он снова плывет по кровавой реке. Только не на плоту он. Он оторвался и щепкой одинокой качается на волнах. А плоты мимо, обгоняют его. Вдоль берегов многоэтажные корабли.



Смешно немного Срубову, что сотни едущих, работающих на них с плотными красными лицами, с надувшимися напряженными жилами поднимают к небу длинные, длинные карандаши труб, чертят дымом каракульки на небесной голубой бумаге. Совсем дети. Те ведь всегда в тетрадках каракульки выводят.

Туман зловонный над рекой. Нависли крутые каменные берега. Русалка с синими глазами, покачиваясь, плывет навстречу. На золотистых волосах у нее красная коралловая диадема. Ведьма лохматая, полногрудая, широкозадая с ней рядом. Леший толстый в черной шерсти по воде, как по земле, идет. Из воды руки, ноги, головы почерневшие, полуразложившиеся, как коряги, как пни, волосы женщин переплелись, как водоросли. Срубов бледнеет, глаза не закрываются от ужаса. Хочет кричать – язык примерз к зубам.

А плоты все мимо, мимо... Вереницей многоэтажные корабли. Оркестр поравнялся с пролеткой Срубова. Загремел. Срубов схватился руками за голову. Для него ни стук ног, ни бой барабанов, ни рев труб – земля затряслась, загрохотал, низвергаясь, вулкан, ослепила огненная кровавая лава, посыпался на голову, на мозг черный горячий пепел. И вот, сгибаясь под тяжестью жгучей черной массы, наваливающейся на спину, на плечи, на голову, закрывая руками мозг от черных ожогов, Срубов все же видит, что вытекающая из огнедышащего кратера узкая кроваво-мутная у истоков река к середине делается все шире, светлей, чище и в устье разливается сверкающим простором, разливается в безбрежный солнечный океан.

Плоты мимо, мимо корабли. Срубов собирает последние силы, стряхивает с плеч черную тяжесть, кидается к ближайшему многоэтажному великану. Но гладки, скользки борты. Не за что уцепиться. Срубов соскочил с пролетки, упал на мостовой, машет руками, хочет плыть, хочет кричать и только хрипит:

– Я... я... я...

А на спине, на плечах, на голове, на мозгу черный пепел жгучей черной горой давит, жжет, жжет, давит.

И в тот же день.

Красноармейцы батальона ВЧК играли в клубе в шашки, играли, щелкали орехи, слушали, как Ванда Клембовская играла на пианино «непонятное».

Ефим Соломин на митинге говорил с высокого ящика:

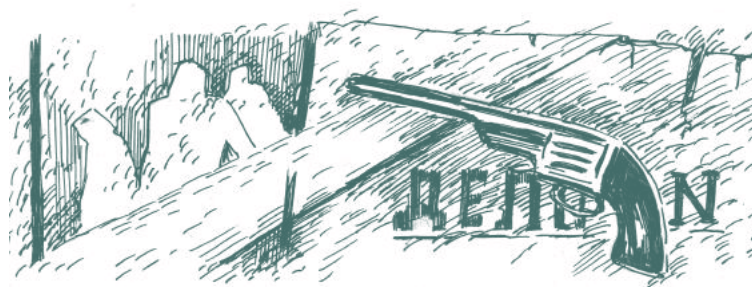
– Товарищи, наша партия Рэ-Ка-Пы, наши учителя Маркса и Ленина – пшеница отборна, сортирована. Мы коммунисты – ничо себе сродна пшеничка. Ну, беспартийные – охвостье, мякина. Беспартийный – он понимает, чо куда? Никогда. Но яво убивцы и Чека, мол,

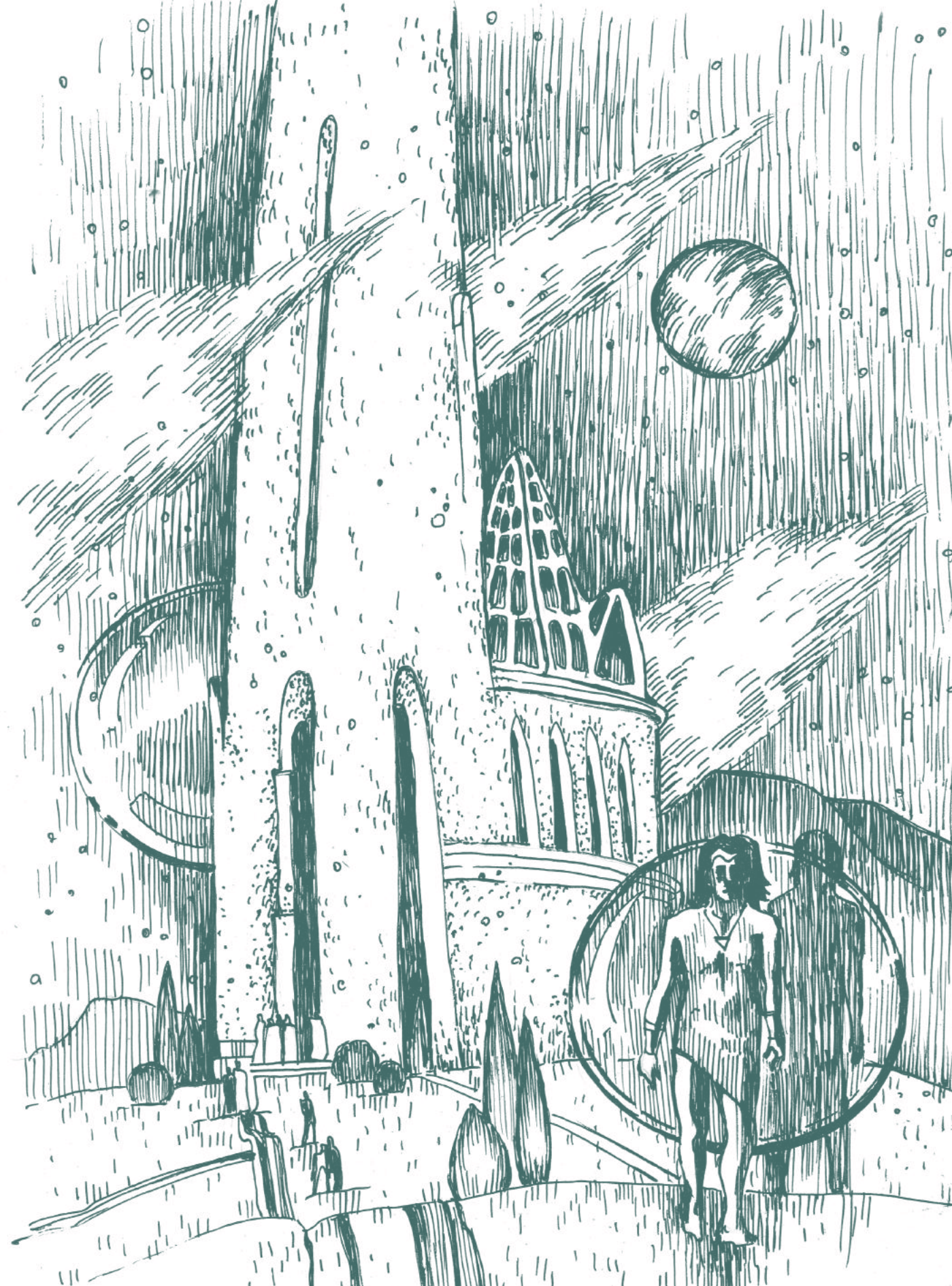




одно убийство. Но яво и Ванька убиват, Митька убиват. А рази он понимает, что ни Ванька, ни Митька, а мир, что не убивство, а казнь – дела мирская...

А Ее с битого стекла заговоров, со стрихнина саботажа рвало кровью, и пухло Ее брюхо (по библейски – чрево) от материнства, от голода. И, израненная, окровавленная своей и вражьей кровью (разве не Ее кровь – Срубов, Кац, Боже, Мудыня?), оборванная, в серо-красных лохмотьях, во вшивой грубой рубахе, крепко стояла Она босыми ногами на великой равнине, смотрела на мир зоркими гневными глазами.



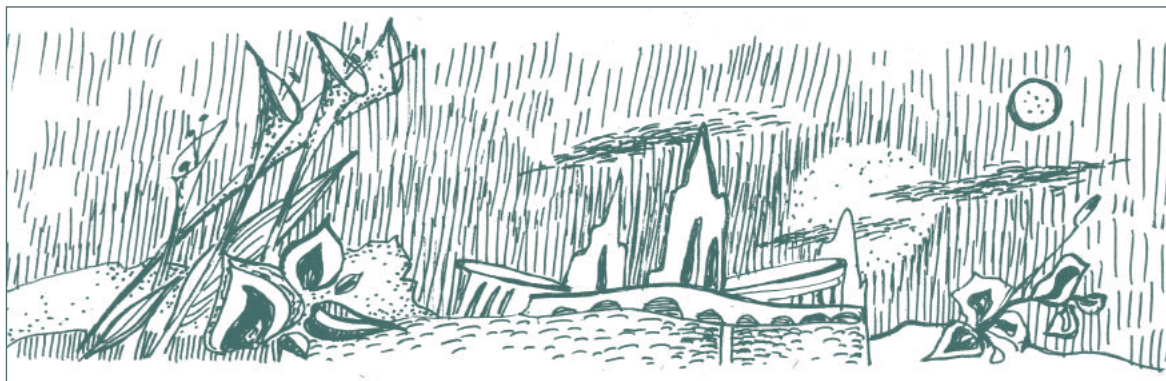




# ВІВІАН ІТІН

3  
*Літературне наследие  
Краснодара*





## I. МАШИНА ВРЕМЕНИ

Тюрьма была переполнена. В одиночки запирали по несколько человек. В самой тесной клетке третьего этажа, где в коридорах дежурил военный караул, жили двое. Один был молод, другой казался стариком, но путь, отделявший юношу от смерти, был короче. Он был пойман с оружием в руках.

Старик, когда-то известный врач, тоже обвинялся в большевизме, но в то время играли в законность и демократию, необходимо было разыскать какое-нибудь «государственное преступление», чтобы его повесить. Поэтому в его прошлом упорно рылась следственная комиссия.

Молодой человек стоял, прижав лицо к решётке. Сквозь летний северный сумрак чернели хвойные горы. Внизу стремилась мощная река. Он верил в теории, по которым человек, когда умирал, был мёртв, но громадный оптимизм его молодости не допускал смерти. Расстрел представлялся ему звуковым взрывом, виселица — радужными кругами в глазах. Он видел...

Беззвучно вздымались ровные волны. Он лежал на корме, разбитый дневной работой, но ему было хорошо от выпитого вина. Рядом двое китайцев, таких же носильщиков, ссорились из-за украденной рыбы. Он смотрел на живой путь луны в океане, на отражения разноцветных огней гавани, отелей, кабаков...

Врач, читавший у восковой свечи, приподнялся.

— Страна Гонгури [1]? — сказал он. — Я прочёл это в твоей тетрадке, Гелий [2]. Здесь, кажется, больше поэзии, чем географии.



Он взял рукопись.  
В снегах певучих жестокой столицы  
Всегда один блуждал я без цели,  
С душой перелётной пойманной птицы,  
Когда другие на юг улетели.  
И был мир жесток, как жестокий холод,  
И вились дымы-драконы в лазури.  
И скалил зубы безжалостный голод..  
А я вспоминал о Стране Гонгури.  
И всё казалось, что фата-моргана [3]  
Все эти зданья и арки пред мною,  
Что всё, как дым пред лицом урагана,  
Исчезнет внезапно, ставши мечтою.  
Здесь не было снов, но тайн было много.  
И в безднах духа та нега светила —  
Любовь бессмертная мира иного,  
Что движет солнце и все светила.  
— Так писали, когда я жил в Петербурге, — сказал Гелий. — Скучные вирши.  
Тень Гелия задвигалась на переплётах решётки. Грохнул тяжёлый выстрел. Рикошет пули взвыл в одиночке и вдруг затих, щёлкнул в углу.  
Гелий спрыгнул с нар, подошёл к свету.  
— Я просил тебя, — сказал врач, немного задыхаясь. — Вчера поставили казачий караул.  
— Что ж, доктор, неожиданно — лучше... Впрочем... — Гелий быстро вскинул голову. — Ты хотел спросить меня? Гонгури... Да, сейчас, пожалуй, пора заняться самыми индивидуальными переживаниями.  
Гелий замолчал. Старик, потрясённый и ослабевший, молчал тоже.  
— В сущности, — продолжал Гелий, чтобы развлечь его, — здесь и рассказывать не о чем. Это мало вяжется со мной. Теперь, от безделья, те же мысли снова надоедают мне... А началось это, кажется, ещё в детстве, когда я лежал в зелёной тени с книжкой под головой и в солнечных лучах пели стрекозы. Потом яснее повторилось во Фриско, на берегу океана... Вероятно, потому, что я жил тогда всего беспутнее... Но не только в кабаках, в дни, когда я был трезв и голоден и дремал от усталости, сначала словно отвлечённая гипотеза, а потом всё увереннее я начинал вспоминать... Понимаешь, это были просто несложные мечты, возникающие у всех нас, — о мире более совершенном, но всегда, когда они проходили, мне чудилось, что это вовсе не грёзы, а память о чём-то очень родном, близком и недавнем. Однажды, ещё на севере, я испытал глубокий экстаз, стойивший мне большой потери сил. И тогда я запомнил имя женщины... Её звали Гонгури. На океане это повторялось чаще... Словом, страна Гонгури — какие-то



навязчивые видения. Я знаю, что ты скажешь. Заранее согласен... Во всяком случае, всё это имеет свои научные объяснения. Дай прикурить.

— Да, можно всему найти научные объяснения, — нахмурился врач.

Гелий курил, громко глотая дым.

Старый арестант спросил:

— Гелий, хочешь вернуться в страну Гонгури?

Гелий встал.

— Злая шутка, — пробормотал он. — Откровенничать — слабость, но...

Раздался новый выстрел, потом длинный, странный крик.

— На этот раз прямо в цель! — сказал Гелий. — Говорят...

Вдруг он вскрикнул и бросился к окну.

— Гелий! — закричал врач, ловя его руку. — Я совсем не шутил! Сядь!

— Дай мне кончить со всем этим!

— Что ты хочешь сделать?

Рука Гелия ослабела.

— Тебе казалось, что ты жил там? Что было, то есть. Что такое время? Нелепость. Почему бы нам не восторжествовать над нелепостью?

— Ну, ты изобрёл машину времени, — усмехнулся Гелий, привычно подавив тревогу.

— Да, — ответил врач. — Конечно, уэллсовский автомобиль четвертого измерения невозможен, иначе путешественники будущего давно были бы у нас. Но всё-таки победа над временем вовсе не утопия. Мы постоянно нарушаем его законы во сне. Наука зарегистрировала много случаев, когда самые сложные сновидения протекали параллельно с ничтожным смещением часовой стрелки. Я сам испытал нечто подобное во время опытов с одурманивающими ядами и теперь не сомневаюсь даже в семилетнем сне Магомета [4], начавшемся, когда опрокинулся кувшин с водою, и кончившемся, когда вода ещё не успела вытечь из него... Однако обыкновенный сон не годится для наших целей. Он слишком настроен, его режиссёр вечно путает сцены. Гипнотический сон более всего подходит для нас.

Гелий поднял голову.

— Да... Впрочем, не следует во всём уподоблять гипнотизм сну. В некоторых стадиях гипноза самое тусклое сознание может расцвести волшебным цветком. Один мой пациент производил впечатление гения своими экзотическими импровизациями [5], хотя в обыкновенной жизни это был бездарнейший писака.

— Может быть, он повторял чужие стихи? — усмехнулся Гелий.

— Всё равно, — ответил врач, — наяву я не слышал от него ничего подобного. Это нечеловеческая память... Другой, совсем калека, профессор, высохший как Моммзен [6], становился великим воином, настоящим Ганнибалом, сыном Гамилькара [7]! Он вёл свои войска через



Альпы, ветер жѐг его лицо, боевые слоны гибли от холода, но глаза его горели, как пожары двух городов. Он спускался в италийские долины под ржание коней нумидийцев [8] и мерный стон мечей, бьющихся о щиты... Так он рассказывал, клянусь болотом!

— Такие сны можно увидеть и в китайской курильне, — сказал Гелий.

— Это более чем сны, — возразил врач, увлекаясь любимой темой. — Когда говорят о гипнозе, имеют обыкновение утверждать, что это воля гипнотизѐра вызывает в спящем процессы транса и т. п. Конечно, воля здесь ни при чём. Я говорю спящему, что его тело бескровно, и кровь перестаѐт литься из ран, я говорю, что его мышцы окаменели, и слабый человек лежит на двух подпорках, касающихся его затылка и ступней, выдерживая большой добавочный груз. Это общеизвестно. Гипнотизѐр не может подчинить чужой так называемой души, он лишь вызывает в ней какие-то не исследованные силы, ассоциативные процессы [9] мозга, и она более или менее раскрывает их, не переставая быть увлекающей загадкой...

— Хорошо, доктор! — прервал Гелий, явно любуясь необычностью положения. — Ты хочешь усыпить меня и сделать только одно внушение: чтобы я вернулся в страну Гонгури? Хорошо. Я готов на какие угодно опыты! Я только думаю, что меня трудно загипнотизировать... Впрочем, когда я засну, ты можешь попытаться. Сегодня я спал не более пяти часов.

Врач кивнул головой.

Коридор наполнился гиком и хохотом. Нелепо взвизгнула чашушка. Кто-то тяжѐлый остановился у камеры, и в круглой дырке двери забегал мутный глаз.

— Не спишь, гад! — заорал голос. — Скоро тебе крышка.

Шум исчез, лязгнув железными зубами двери на гулкой каменной лестнице.

Старик прижал руку к рѐбрам решѐтки. Гелий взглянул в побледневшее лицо и, вспомнив, заговорил спокойно:

— Что с тобой, Митч? Всё хорошо. Я хочу плюнуть в глаза смерти. Что в самом деле дремлет в нас? Четыре года я знаю тебя, и теперь, здесь, ты остался таким же изобретателем экспериментов, каким был... А! Как мне сказать? Слышишь — тюрьма, камень, кованые приклады, гвозди сапог. Камень и железо. Ничтожество. А мы займѐмся нашим опытом! Я готов. У меня нет других мыслей...

Свеча погасла. Серый сумрак проник в квадраты окна. Гелий говорил:

— Теперь надо скорее заснуть. Спокойной ночи... — И совсем по-мальчишески улыбнулся. — Итак, мы отправляемся в страну Гонгури!

Он отвернулся, закрываясь своей английской шинелью, снятой после боя с мѐртового врага.

— Спокойной ночи, — машинально сказал врач.



Скоро он услышал ровное дыхание спящего, привыкшего засыпать в короткое время отдыха в грязи пристаней и вокзалов, в открытом море в бурю, в заставе перед тем, как идти в снега величайших равнин и стоять часами на грани борющихся миров и смерти.

Врач смотрел в лицо Гелия, освещённое голубоватым светом, и мысли его кружились. Его лихорадило. Он бормотал бессвязно:

— Электроны света, мысль в его мозгу... Мир... Мозг... Непонятно...

Он с усилием воли встал, очнувшись, и осторожно взял руку Гелия.

— Ты спишь, — сказал он, — спи! Волны мрака укачивают, как море.

Он приступил к своим внушениям.

Грудь Гелия расширилась. Он бредил и жестикулировал. Потом лицо внезапно побледнело, словно невидимая рука сдёрнула с него маску.

— В сущности, все гипнотические состояния индивидуальны, — про- бормотал врач, прижимая пульс спящего, сам почти загипнотизирован- ный спокойствием сна.

Тюрьма, камень, железо. В сумеречном сознании мелькали врезавши- еся в память дни. Лицо Гелия было неподвижным.

...Гольден Гейт. Синяя соль и густой ветер. В России революция, Ок- тябрь... После долгой работы он зашёл отдохнуть в первую открытую дверь. Это был матросский салун [10]. Грязные, сильные люди всех рас. Крики многих наречий. И в центре он сразу заметил у подвального окна напряжённое от потока мысли лицо, такое же, как теперь.

...Чудовищные леса и деревни. Морозы, пред которыми градусы Фа- ренгейта [11] из сказок Лондона [12] — оттепель. Костры под лапами гро- мадных елей. Крутящиеся саваны бурана... Потому что Гелий сказал тогда твёрдо и безоговорочно: «Надо ехать». Тихий океан остался на востоке, но огневая завеса уже разделяла Азию и Европу.

...Хаос первоначальной власти. Сражения. Коммунистические отряды, скрывшиеся в тайге. Санитарная повозка под шкурой медведя. Ремень вин- товки, прилипший к плечу Гелия... В декабре их окружили. Несколько че- ловек по обычаю бандитских войн были доставлены живьём... Это — они...

Врач зажёл спичку, чтобы закурить. Резкий свет упал на веки Гелия, спящий вздохнул глубже. Врач быстро бросил пламя.

Единственной его надеждой была миссия Соединённых Штатов, приехавшая в город. Говорили, что американцы, помогая излюбленному порядку паровозами и тёплым бельём, иногда бывали в тюрьмах перед большими расстрелами, стесняясь финансируемого ими варварства, и, кажется, спасли кого-то. Он слышал фамилию Д. Мередит. Не тот ли Мере- дит, которого он лечил?

Врач эмигрировал сразу после 1905 года. Ему «повезло», как говори- ли. Он спокойно практиковал на Клэй-стрит, постепенно терял прежние





знакомства и не думал больше о борьбе. Его стали звать мистер Митчель, друзья сокращённо — Митч.

«Гелий! Он странно вошёл в мою жизнь», — думал врач.

Он улыбнулся, вспомнив их встречу. Голод перемен и выхода был в нём сильнее первой любви... Вдруг ему показалось, что лицо спящего стало ещё поразительнее. Он взял его руку. В памяти зазвучали обрывки стихов, к которым приучил его Гелий. Он бормотал их вслух, не владея собой:

Сердце губит радостная жажда,  
Лучше умереть, но заглянуть...

Он смотрел в неподвижное лицо. Ему становилось не по себе. Точно огромный полёт...

— Пульс!

Сердцебиение спящего замедлялось с угрожающей правильностью. Врач принялся будить его. Неожиданно это оказалось трудным. Гелий открыл глаза, но не отвечал на вопросы и смотрел с таким сумасшедшим удивлением, что врач невольно отступил в страхе. Громко повторяя фразы, он стал рассказывать о происшедшем. Приём подействовал. Скоро Гелий стал более внимателен к окружающему и нахмурился от воспоминаний. Врач зажёл свечу, велел Гелию закурить. Привычные ощущения лучше всего повлияли на него. Он нерешительно взял обломок зеркала.

— Я не изменился? — сказал он.

— Нет, совсем мало.

— Я очень переживал за это время.

— Ну, как ты себя чувствуешь? — робко спросил врач, но Гелий только покачал головой.

Он сел на койку, опуская лицо в ладони.

Далеко в городе ударил колокол. Гелий резко выпрямился.

— Сколько времени? — быстро спросил он.

— Час.

— Час! Скоро рассвет.

Он глубоко вздохнул и продолжал очень спокойно, как будто говорил о деле.

— Поздно... Да, кто-нибудь должен знать. Садись, Митч, слушай, что это было. Я закрою глаза, чтобы лучше видеть. Слушай!

Его речь зазвучала необычно:

— Я Риэль, так меня звали раньше, я, Гелий, видел сегодня мир с непредставимой высоты. Я хочу тебе рассказать об этом... Я был Гелием и стал Риэлем... Вернее, наоборот. Но это лишь теперь я помню последовательность видений, тогда же было совсем иное. Видимость реального ничем не отличалась от обычного состояния вещей. Мне было приблизи-



тельно 24 года, как теперь. Это не значит, что моя жизнь длилась в течение 24 оборотов Земли вокруг Солнца, — земные меры вообще неприложимы к миру, где я назывался Риэль, но я всё же буду употреблять их, потому что кажущееся для нас понятнее действительных соотношений. Да... Сначала я спал, потом моя жизнь стремительно потекла назад, к своему первоисточнику. Друг за другом возникали предо мной всё более и более ранние картины, словно тени фильмов, разорванной и соединённой так, что последние сцены стали первыми и первые — последними. Промелькнули школьные годы, началось детство. Я читал давно забытые книги, уносившие меня на воды Амазонки и Ориноко, на таинственные острова и далёкие планеты. Я помню себя совсем крошечным ребёнком, влюблённым в нянины сказки, безумная фантазия которых так торжественно звучала в тёмной детской, при свете зимних звёзд; я внимал им и забывал себя. Потом я подошёл к огромному дереву, несомненно, из учебника Ветхого завета, и тогда, подобно смутному сну, во мне родилось воспоминание об этой жизни, хотя пред собой я видел только степь, но старик, похожий на оперного статиста, дал мне жемчужину величиной с голубиное яйцо, и я улыбнулся, уверившись, что вспоминаю лишь грёзы дневного сна. Я стал смотреть на тусклый свет жемчуга, и моё сознание постепенно погрузилось в него, пока не наступил хаос... Но сияние жемчуга длилось. Бледная тончайшая пыль наполнила пространство. Свечение, как звёздная туманность, скопилась в небольшой фосфоресцирующий шар. Он лежал в руке статуи, изображавшей мыслителя. По-видимому, все вместе, статуя и удивительный шар, представляли собой нечто вроде художественного ночника. Я отвернулся и попытался заснуть, но не мог. Свет раздражал меня, и я не мог забыть каменного лица, отражавшего напряжённое внимание неведомого духа, неприятно бледного лица, освещённого голубоватым сиянием... И вдруг у меня явилась мысль исследовать вещество голубого светильника в моей машине. Тогда где-то в самом центре я ощутил непередаваемый толчок. Так бывает, когда вдруг забудешь что-нибудь... С этой мыслью я вошёл в страну Гонгури. С этого момента я ничего не помнил о себе. Я стал человеком другого мира.

Гелий замолчал, сжимая ладонью веки. Воля его билась с расстроенными полчищами образов, стремилась вернуть им порядок и красоту мысли. Сознание, что весь этот вихрь замкнут в клетке его мозга, было чудовищно. Гелий открыл глаза.



## II. СТРАНА ГОНГУРИ

— ...Этот мир! Я его видел... Но мы всё время видим его и потому идём сквозь строй нашей жизни. Не думай, конечно, что я расскажу что-нибудь по порядку...

Был 1920 год после революции. У нас были бананы, персики, розы... огромные! Вишни величиной с яблоко и персики величиной с арбуз. Я начал с яблок, потому что наша планета была прежде всего сад. Мир делился на страны по плодам их растений. Их пояса были нанесены на карту. Домашних животных я не помню. Правда, мы пили белую жидкость, называемую молоком, ели молочные продукты, в кухнях я видел желтоватый порошок, сохранивший название «яйца», но всё это было делом химических заводов, а не скотных дворов... Сады, поля злаков и волокнистых трав. В более холодных широтах росли леса, но там не было людских жилищ.

Среди садов, на много миль друг от друга, поднимались громадные литые здания из блестящих разноцветных материалов, выстроенные художниками и потому всегда отличные друг от друга. Эти дворцы строились так, чтобы казаться гармоничным целым с природой. Я хочу сказать, что они должны были излучать горение художественной мысли, чтобы слиться с горизонтом равнин, гор и садов... Впрочем, были также большие города. Их было немного. Там сосредоточивались библиотеки, музеи, академии. Улицы были разноцветным ковром того же непрерывного сада, только здесь было больше цветов, декоративных растений, фонтанов, статуй. Да это, впрочем, и не были улицы, артерии городов: передвижение со времени изобретения онтэита совершалось в воздухе.



Онтэ жил за тысячу лет до моей эры. Развитие нашей науки шло так, что физическая природа мирового тяготения постигалась ценой больших усилий. Онтэ первый дал законченную теорию тяготения и нашёл особый комплекс энергии веществ, онтэзит, стремящийся от массы. Воздушные корабли моего времени представляли собой стройные дельфинообразные тела, их оболочки были отлиты из лёгких металлов, в центральной верхней части помещались онтэзитные поверхности, замкнутые в диафрагму изолятора, вроде тех, что устраиваются в наших фотографических аппаратах. Движением диафрагмы сообщалось нужное ускорение по вертикали.

Со времени Онтэ можно было изменять очертания материков, уничтожать и переносить горы. При нём началась разработка общего плана планеты... Один раз в моей жизни я видел постройку нового города. Тысячи кораблей принесли сделанные на заводах части, летающие люди соединили их, но когда завершилась мысль инженера, заснула энергия машин, на смену пришли ваятели, живописцы, поэты, томимые своей вечной неудовлетворённостью. Город был назван Лейтоэн по имени поэта...

Мир — энергия, Митч, она безгранична. Мы здесь нищие миллиардеры, мучаемся от её недостатка, но она всюду. И нужно немного разума, немного коллективного разума, чтобы подчинить её организующей силе сознания. Как просто! А мы...

Гелий взглянул на шершавую ткань своего каменного мешка и, вздрогнув, продолжал:

— Первое, что я помню из моего детства, — это полёт. Я учился управлять маленьким аппаратом, состоящим из пояса, поглощавшего тяготение, и радиодвигателя. В первый раз я испытал ощущение бесплотности, как от наркоза. Но в конце второго тысячелетия новой эры не только машины были совершенны. От права и власти — этого подобия кнута и других воспитательных атрибутов — почти ничего не осталось. Преступление стало невозможным, как... ну, как съесть горсть пауков! Только дети ещё играли в государство и войны. И вот, в играх я всегда стремился лететь скорее и выше других, вызывая смех взрослых.

Мне было шестнадцать лет, когда радио Лоэ-Лэлё загремело тысячами рупоров и экранов, что Везилет вернулся. Везилет провёл четыре года на Тобероне, крайней планете нашей Солнечной системы. Межпланетный путь был пройден ещё в легендарные годы последней революции, но только после изобретения онтэзита межпланетное сообщение стало обычным. Освобождённые от тяжести «победители пространства» всплывали до пределов тяготения, и тогда небольшого радиоактивного двигателя было достаточно, чтобы развить планетную скорость и лететь



в любом направлении. Существовало постоянное сообщение с планетой Санон, ближайшей к нам из внешних миров. В экваториальном его поясе были наши колонии. На остальных планетах человек не мог жить, там жили странные чудовища. Исследования этих миров длились века, много экспедиций погибло, на смену им мчались новые. Мне было шестнадцать лет, и я был охвачен пламенем этого чистого героизма...

Когда я говорю о своих видениях, Митч, не кажется ли тебе, что это действительно «более чем сны»? Мир Гонгури во мне, неотделим от меня и так ясен, словно горный день. А вот когда люди лежат друг против друга, зарывшись в снег, и целятся друг в друга и в сознании грохот, грохот, грохот...

— Ты рассказывай, — сказал врач тихо.

Гелий сдавил скулы.

— Да... — очнулся он. — Я бросил свою школу в Танабези [13] и улетел к Везилету. Я узнал, что он снова отправляется в путешествие, теперь на последнюю планету, между нами и солнцем, Паон. Ось вращения Паона была наклонена к плоскости эклиптики почти на 40°, зной и холод чередовались там в полугодовые сроки. Я помню, для меня это было так удивительно! Я сказал Везилету, что в Танабези скучно, что я хочу ему помогать. Вероятно, это было трогательно, и Везилет засмеялся, чтобы безобиднее меня выпроводить. Он сказал, что на Паоне надо одеваться. Ни одна тряпка ещё не оскверняла моего тела. Только старые люди носили туники. Везилет напялил на меня шерстяное бельё, меховую куртку, шубу, шапку, обувь. Мне казалось, что меня бросили в муравейник, я не мог шевельнуться, как твой кролик, положенный на спину и таким образом загипнотизированный необычайностью положения. Старик смеялся. Тогда я прошёл по металлическому полу, до слёз заставляя себя улыбаться, и сказал, что я силён, что я могу носить тяжести и хорошо знаю машины. «Может быть, мы возьмём его?» — это была Нолла, спутница Везилета. Так решилась моя судьба. Вошёл Марг, сильный человек из колонистов Санона. Кожа его была белой, а губы чернели атавистическим пушком [14]. Марг больно сжал мускулы моей руки. Я молчал. «Ты должен работать, — сказал он, — иначе я тебя выброшу. Идём!»

В небе сиял огромный Паон, бог страсти.

В безвоздушной среде единственной неожиданной опасностью были метеориты, блуждающие обломки миров, что давало возможность избежать смертельной встречи с этими своеобразными рифами межпланетных пространств. Марг ушёл управлять кораблём. Нолла смотрела в нижнее окно. Везилет заперся в своей каюте и рассказывал что-то почти шёпотом машинке, записывающей речь.

Предо мной вздымался громадный амфитеатр нашей планеты. Сотни раз с той же высоты я видел на экране очертания знакомых земель, и всё



же их чрезмерная реальность казалась фантастичной. Контуры материков и облачные массивы были огромны, краски сияли. Я надолго забылся в экстазе созерцания [15].

«Мир исчезал, но мы летели дальше.

И сердце не хотело возвращенья», —

как смутное эхо, вспоминаются стихи Ноллы... Она действительно не вернулась.

Я полюбил Ноллу. В однообразные часы, среди бесконечной пустыни мира, далеко от её оазисов, освещённые ослепляющими лучами солнца, неизменно лившимися с одной стороны, тогда как в другие окна были видны лишённые своего ореола разноцветные звёзды, я полюбил то сияние мысли, каким Нолла озаряла жизнь. Диск нашего мира сначала прочно казался дном, потом замкнулся в круг, стал чем-то существующим сбоку и незаметно опрокинулся ввысь зеленоватой лунной. Мы говорили, стараясь не двигаться, так как всякий лёгкий толчок перебрасывал наши потерявшие вес тела к противоположной стене. Тогда мы медленно, как рыбы в аквариуме, плыли в воздухе, взвешенные, точно жидкое масло в растворе воды и спирта. Нолла смеялась. Я был заражён чем-то вроде слабого отголоска патриотизма диких времён.

Да, мне казался странным город Лоэ-Лэлё. Я родился в стране, где не было ничего лишнего. Точная мысль определяла производство. Коллективное творчество преобладало. Даже художники очень часто вместо подписи ставили знаки своих школ. Лоэ-Лэлё, конечно, был звеном той же цепи. Образование, материалы для творчества, пища, город, одежда были спаяны одним планом планеты, но то, что не было признано необходимым для жизни и развития народа, ни в Танабези, ни в других городах не производилось. А в Лоэ-Лэлё до сих пор существовали диковинные социальные наросты, люди, употреблявшие какое-то курево, вино. Я помню, я увидел у Ноллы алмазный диск с тончайшей резьбой, изображавшей лицо Энергии. Это была страшная чепуха: деньги. Ценность их была, разумеется, условной, потому что наши заводы превращали любые вещества. Единственной мерой могла считаться только полезная энергия. Денежная единица Лоэ-Лэлё равнялась принятой силовой единице радия [16]. Я сказал Нолле что-то вроде: «Вы плохо кончите», — очень довольный сознанием своего превосходства.

Удивительнее всего была история Лонуола. Учёный и поэт, он был одним из величайших людей моего времени. В его реторте впервые зашевелилась протоплазма, созданная путём синтеза из мёртвого вещества. «Настанет день, — говорил в стихах Лонуол, — когда человек будет питаться мыслями и рождаться от платонической любви». Лонуол отказался от из-



брания Ороэ, чего никогда не случалось прежде, построил недалеко от Лоэ-Лэлё, на скалистом мысе западного побережья, большой дворец, но не включил его в общую городскую сеть. Он жил там со своими учениками, подобно легендарному повелителю, окружённый необычайными обрядами и почестями. Всё это казалось вымыслом, даже сном. В Танабези избегали говорить о Лонуоле.

Нолла соглашалась, улыбаясь, и дразнила меня: «Да, вы многочисленнее, счастливее и... бездарнее. Кто был Онтэ? Кто Везилет?» Среди вещей Ноллы я нашёл эмалевый изумительный портрет молодой девушки. Она стояла светлая, каменная, нагая. Чёрный нимб озарял её лицо. Меня ослепил свет страсти, но глаза девушки были такими далёкими, что было неопровержимо, только подвиг мог бы разбудить этот огонь. Вот для чего стоило жить! Я видел... Лоэ-Лэлё на берегу залива тёплых вод, на полуострове, прямым углом вдавшемся в море. Там, где пересекались набережные, на блестящей глыбе, стояла статуя юноши, восходящего к свету. Я видел сверкающие здания, бездонные зеркальные площади, улицы, полные шума и удивительных криков, гипертрофированные розовые кусты [17], разноцветные деревья, аллеи, вымощенные плитами тёмного топаза, солнечные поляны — голубые, зелёные, жёлтые, — лёгкие невиданные постройки, одетые вьющимися цветами, огромными, как луны. Внизу за деньги покупают вино и душистый дым цветов Аоа... И над всем этим миром такая девушка!

— Это Гонгури, — сказала Нолла.

«Ах, что мне было сделать!» — думал я...

На шестидесятый день наш блестящий корабль влетел в орбиту редчайших слоёв атмосферы Паона. С непривычной быстротой, усиленное постепенным замедлением скорости полёта, стало возрастать ощущение веса. Я лежал, прильнув к нижнему окну, и смотрел на растущий диск планеты. Океаны занимали большую часть её поверхности; они были спокойны, разных оттенков — от грязно-бурого до тёмно-синего и на полюсах покрыты шапками льда и снега. Кое-где из этой массы воды торчали уродливые глыбы суши. Половину видимого пространства застилала горная цепь туч. Постепенно она закрыла всё поле зрения, пока мы не погрузились в неё бесшумно, как в тончайший пух. Из облачного хаоса дыбом встали редкие полосы хвойного леса, лесом покрытые горы и в центре свинцовая река, широкая, точно морской залив.

Я не буду рассказывать о наших скитаниях. Они были огромны. Мир Паона был тяжек, как Земля. Мы не могли воспользоваться обыкновенными летательными аппаратами с нашим тройным почти весом, но холодный сжатый кислород Паона возбудил нас, и мы, сгибаясь под ношей своих тел, ушли в лес пешком. Нолла говорила: «Прекрасно,







передвижение в диком мире должно свершаться диким способом, идём!» Гигантский ливень настиг нас, горные потоки подняли и унесли межпланетный корабль в реку. Светящаяся пыль солнечных лучей рассыпалась так быстро, словно на небо целыми океанами лилась тьма. Наступала ночь. Мы, привыкшие к одиночеству людей высокого социального строя, легли вместе, как маленькое стадо дикарей, у дымящегося костра. Марг сказал, что мы будем по очереди не спать и «сторожить». Мне пришлось вспомнить многие полуисчезнувшие слова...

Утром, словно на высочайших горах, выпал снег.

Мне запомнились эти дни... Нет, надо сказать: ночи. Дня почти не стало. И вместе с тьмой росли холод и метели. Река окаменела в белых льдах. Мы шли вниз по реке, ища в ледяных полях стальной блеск «победителя пространства». У нас было оружие — три больших электрических заряда. Марг убивал животных, сдирал их шкуры для ночлега, варил мясо больших белых птиц. Мы ели мясо, и сила санонца казалась нам чем-то более совершенным, чем поэмы Ноллы. Он вёл нас и повелевал нами. Но он погиб, раздавленный пятой зверя...

Мы не могли похоронить Марга, как обыкновенно, бросив его тело в беспредельность звёздных пространств; нам пришлось сжечь труп на большом костре. Пахло горелым мясом. Нолла бредила. Я построил шалаш из коры и сучьев. В первую же ночь его занесло снегом. В этой пещере мы жили семьдесят дней. Впрочем, нет: Нолла освободилась раньше. Она заболела. Болезнь перешла в смертельный жар. Она умерла.

Я помню... каждый день я выползал на сверхъестественную стужу расчищать сугробы. В углу на груде вонючих шкур металась Нолла, выкрикивая непонятные названия: «Ра, Тароге, Огу!» Везилет неподвижно сидел у её ног. Я должен был поддерживать огонь, греть воду и убивать животных. Когда умерла Нолла и горе моё стало угрожать и моей жизни, Везилет увлёк меня строить другое жильё. Прежнюю нору мы превратили в баню с глиняным котлом и печкой. В первый раз я увидел, насколько мы, жители великих городов, забыли первичную, непроницаемую тьму природы. Когда-то я был подобен тропическому цветку, и вот теперь я выхожу из дьявольской раскалённой парильни, построенной по образцу, заимствованному из музея в Танабези, и одеваюсь на морозе, при свете туманной влаги, освещённой звёздами. И в морозном ореоле, как сон или чудо, предо мной сияет зелёная звезда Гонгури. То, что раньше казалось невозможным, стало действительностью, но так как прежнее было более реально, чем настоящее, то по временам всё мерещилось непрерывной грёзой.

Везилет стал для меня ближе и понятнее. Я думал, что Везилет мог бы жить в Лоз-Лэлэ и женщины, подобные Гонгури и Нолле, любили бы



его, но всю жизнь он провёл в грубой борьбе с опасностями диких миров. Какая сила влекла его по этому пути? Не то ли смутное беспокойство, что оторвало меня от правильной жизни в моей школе?.. Везилет улыбнулся и заговорил со мной как с равным, о последних достижениях, о той страсти, что словно ледяной газ сжигает мозг мыслителей... Я слушал его и слушал вой зверей, и выюги, и шипение дымного дерева в огне...

Однажды с моей охоты я вернулся ликуя! Солнце дольше обыкновенного задержалось над горизонтом... Скоро снег не выдержал и помчался в реки грязными струйками. Лёд раскололся и поплыл, крутясь и сталкиваясь с весёлым шумом. Земля покрылась цветами и вдруг высохла и запахла зноем. Огромные бабочки вылупились из своих куколок, амфибии и змеи наполнили траву, птицы вернулись с юга... Я никогда ещё не представлял себе смены времён года, и неожиданно наяву я увидел, как ожило «заколдованное царство»! Казалось, мир наполнился галлюцинациями... Сверкающий корабль летел в голубой яри, приближаясь ко мне... Люди, подобные тем, каким я был когда-то, вышли из него и, более ясные, чем сон, приветственно подняли руки. Это были люди Лоэ-Лэлё.

Гелий встал.

— Есть у тебя табак, Митч? — сказал он. — У меня что-то дрожит вот здесь. Я всё рассказываю не о том, о чём хотел.

Врач вывернул карманы. Гелий жадно проглотил клуб вонючего дыма, продолжал:

— Я вернулся в Танабези. И тогда я снова понял, что мне скучно. Мне было скучно от математически правильных коридоров с рядами аудиторий по сторонам, от алмазных ромбов, покрывавших пол, от цилиндров колонн, от параллельных линий, от безжалостно знакомых поступков людей. «Ах, что бы мне сделать?» — думал я с тоской. В чём счастье? Недавно это был отдых у огня после длинного перехода и спокойный сон для мозга и мышц. Сэа, моя подруга, лучшая из всех, казалась слишком самоуверенной, когда я смотрел в лицо Гонгури. Мне удалось усовершенствовать один из двигателей воздушных кораблей. Я видел, как мои машины распространились всюду, но никто даже не знал моего имени... Потому ли, что я один боролся с чудовищами Паона и во мне проснулись тысячелетние зовы, потому ли, что разгоралась ещё моя юность, но не одна любовь, зависть — я сам себе стыдился признаться в этом — схватила меня, когда я услышал об избрании Гонгури в Ороэ. Я видел её на экране, гордую и прекрасную, с невидящими глазами стоявшую пред мировой толпой, и краски горячей крови заливали моё лицо. Я думал: «Вот какая-то девушка, сочиняющая стихи, носит знак Рубинового Сердца, а я всё ещё здесь!» Я оставил Рунут, читавшего Высшую Телеологию [18] в Танабези, и улетел в Лоэ-Лэлё. Мне ничего не было жаль в Танабези, кроме Рунут и, может



быть, Сэа. Рунут — кажется, он был моим отцом — не стал меня отговаривать.

— Я был там и вернулся, — сказал он, улыбаясь моему тщеславию.

Это меня смутило, но в моей памяти волновался лик огромного здания, величайшего в мире, в центре круглой зеркальной площади Лоэ-Лэлё. Его названия менялись в зависимости от того, какая сила казалась наиболее величественной и всемогущей. В моё время это был Дворец Мечты. Я пришёл, чтобы самозабвенно работать в его лабораториях и достичь... — чего? — этого я сам не представлял себе ясно... Везилет выслушал меня ласково и сказал, положив руку на моё плечо: «Не большое достоинство, что ты придумал свой двигатель, Риэль, но то, что ты так молод, действительно заслуживает внимания». Я вздрогнул: гении Лоэ-Лэлё избирались в Ороэ, когда они были молоды...

— Ороэ, — тихо перебил врач. — Ты не говорил...

— Да... Как несовершенно слово! Как ограничена в средствах передачи наша мысль!.. Вот в одно мгновение я без всякого усилия могу охватить всё пережитое мной, весь этот мир, а чтобы передать тебе хоть небольшую часть, я рассказываю, рассказываю, пропуская тысячи вещей, и всё не могу пойти далее до видений сегодняшнего сна... Да!.. Ороэ — это, конечно, пережиток. Первоначально так называлась организация художников. За две тысячи лет до моей эры какой-то царёк, по имени Ороэ, додумался, что он не понесёт особого ущерба, если освободит несколько человек от разных чудовищных повинностей того времени. Ну, разумеется, царёк очень любил мадригалы [19], льстивые портреты, почётные титулы и рассчитывал на славу. Он назначил деньги на жизнь 25 молодым художникам различных искусств. Ему приписывают, между прочим, любимый афоризм Везилета: «Мысль не поэма, не пропадёт». Я задумался раз над его словами, и, мне кажется, здесь есть доля истины. Если бы, например, Менделеев умер перед тем, как открыть свой знаменитый закон, он был бы всё равно открыт немного позднее. Но никто никогда не кончит «Египетские ночи». И ещё: если бы вдруг спустились на нашу планету люди другого мира, превосходящие нас на несколько тысячелетий культуры, твоя медицина, например, показалась бы чем-то вроде шаманской магии [20]... Да! Зачем это я?.. Разумеется, гениальность в те времена, как у нас, самым тесным образом связывалась наличностью Ясных Полян. Подавляющее большинство художников, литераторов, с первых шагов принуждённых жить на свой случайный заработок, Маркс не без основания ставит в один социальный ряд с бродягами, авантюристами, ворами, разорившимися кутилами, отставными солдатами, тряпичниками, точильщиками и т. д. — не припомню всего списка. Эти люди богемы или близкие к ней всегда живут, боясь большой работы. Говорят, у Берлиоза [21] была больная жена,



когда он задумал прекраснейшую из своих симфоний. И он принудил себя забыть её, чтобы иметь возможность сочинять вещицы для рынка. Он совершенно забыл её; это вполне достоверно... Ну, я опять о нашей тюрьме... Институт Ороэ, конечно, очень скоро выродился, в него попали всякие подлизы. Но идея осталась. В первые годы революции, после отмены крупной собственности, мастерство упало. Последующий же расцвет, несомненно, связан с организацией Ороэ. Члены её выбирались на съездах делегатов всех творцов страны... Впоследствии материальная необходимость института исчезла, но, как я говорил, Лоэ-Лэлё, один из древнейших городов, сохранил много пережитков. Рядом с прекраснейшими зданиями там оставлены такие исторические уроды, которые казались столь же нетерпимыми, как заразные животные. Я никогда не мог к этому привыкнуть. Ороэ Лоэ-Лэлё объединял всех выдающихся людей города. Его гении в принципе были всемогущи. Каждая их мысль должна была осуществляться, хотя бы для того потребовалось напряжение всех народных сил. Нечего говорить, понятно, что у избранников Лоэ-Лэлё не могло быть низких и нелепых побуждений.

Члены Ороэ почти всегда избирались в молодости, по первым лучам их дарования. Вот отчего сердце моё забилося сильнее от слов Везилета. Я был тогда очень молод.

На другой день я получил свои комнаты на Звёздной улице, высоко над морем и розовыми садами. С первых дней я перестал принадлежать себе. Неисчислимые толпы наполняли аудитории, музеи, библиотеки Дворца Мечты. Неисчислимые противоречия отравляли его воздух. Оглушительные фразы, непонятные и сложные доказательства проносились по многоликой душе словно вихрь, более могущественный, чем буря Паона. Я видел людей, стонавших от тяжести мысли, я видел их равнодушными к внешнему над листьями книг.

Я возвращался, томимый смущением. Я забывал о своих мечтах.

Лёгким движением я включал ток в систему приборов, чтобы получить из библиотеки книги Ноллы и Гонгури. Скоро я сам стал писать стихи. Было так хорошо читать, слушать с кем-нибудь музыку, созерцая в глубине экрана театральные представления, или просто смотреть в огромное окно на сияющий город и тёмное небо...

Однажды высоко над ширью влаги я играл в лучах заходящего солнца с девушками Лоэ-Лэлё. Пылали фосфорические тона океанийских закатов. Мы ловили птиц и отпускали их с разноцветными розами. Это был детский спорт, и мы были веселы, как дети. Я увидел незнакомую девушку, летевшую мимо. Я догнал её. Она плыла, закинув руки за голову, смотря в бирюзовое небо, где начинали сиять самые большие звёзды.



Широкий чёрный онтэитный пояс сжимал её крепкое тело. Она задумалась и не сразу поняла меня. Потом, когда я был совсем близко, она взглянула в мои глаза с лёгким пренебрежением, с ласковой досадой и отвернулась. И только тогда я заметил Рубиновое Сердце — признак Ороэ. Я узнал её: то была Гонгури, моя Гонгури!..

В ту же ночь я снова заблудился в лабиринте Дворца Мечты. Мне снова показалось, что меня окружает безнадежный хаос и я никогда не отличу в нём истинно ценного от хлама... Но вот я услышал Везилета. Я вижу его как наяву: высокий, седой, дымящий листьями Аоа, пахнувшими эссенциями тропических смол. Он был прекрасен среди множества приборов и машин, прекрасна была его речь, чистая и сухая, как треск электрических разрядов. Он не читал определённого курса. Разные сведения можно получить из книг. Он говорил лишь о том, что волновало мир, и тянул нас за собой, на высоты подлинной науки. Я дрожал на его лекциях, как любовник, и бледно-коричневая кожа моего лица становилась огненной от возбуждения.

Случилось так, что в то время вновь разгорелся спор о строении материи... То есть, конечно, свойства всех элементарных частиц, их формы, объём и вес, пути атомов, электронов и даже открытых Онтэ радалитов были давно вычислены с точностью орбит небесных тел нашей системы. Всё это входило в учебники. Вопрос шёл о пределе...

И вот под влиянием мучительной моей и светлой жажды во мне возникла отчаянная мысль — овладеть мельчайшими лучами энергии, превратить их в подобные им видимые световые волны и собственными глазами посмотреть, из чего состоит Мир!

Прошло два года. Я полюбил пустынные места в горах, далеко к северу от Лоэ-Лэлё, у каких-то нечеловеческих изваяний, высеченных неизвестным скульптором. Я отдыхал на плоском камне, измученный потоком мыслей и неудач. В глазах расплывался серебряный свет нашей маленькой луны.

Внезапно в полусонных глубинах сверкнула чудовищно яркая молния. Машина Риэля была найдена!

Я не помнил явившейся мысли, она была мгновенна, но я знал, что она живёт во мне и теперь остаётся только расшифровать её... Но ещё два года я сжигал свой мозг в лабораториях фантастического здания, два года с безумным темпом мысли я переходил от книг к вычислениям, от вычислений к опытам и лекциям. Гонгури пришла ко мне узнать о странной моей работе, и я достиг наконец её желанного взгляда.

Я знал, что она считает меня неудачником, но я был уверен в себе. С тех пор я часто замечал издали её сияющий взор, но Гонгури и всему окружающему я уделял лишь немногие минуты и незначительные слова. Она была обыкновенная девушка. Как все.



Я работал в гигантских Мастерских Авторов. Во главе Мастерских стоял старикашка Пейрироль, выбранный туда за свою нечеловеческую любовь к машинам. Днём и ночью я видел его проверяющим мускулы своих любимцев, то изящных, хрупких и сложных приборов для тончайших измерений, то огромных электрических молотов, изрыгающих торжествующий чрезмерный грохот в атмосфере стальных плавлен. Тысячи тонн металла выбрасывались вверх с помощью поверхностей онтэита и вновь падали, давя на чудовищные рычаги, наполнявшие движением тысячи зал Дворца Мечты. Я сроднился с этим вечным движением, шумом, визгом и шелестом, выделявая части моей машины и торопя помогавших мне мастеров из студентов верхних этажей. Восемь раз модель оказывалась недостаточно точной, восемь раз мы принимались за неё снова. Пейрироль встретил меня однажды тонкой усмешкой. По его мнению, я должен был поплатиться за свои фантазии. То, конечно, был намёк на эстетический обычай, по которому неудачники всегда старались возместить расходы Мастерских. Я снова поднялся в аудитории и библиотеки. Однообразными днями я просиживал за чертёжным столом или блуждал, не видя, по бесконечным музеям и городам всех эпох, воспринимая сквозь сон сказочное величие и помня всё одну и ту же мысль, пока меня не нашли ночью без сознания под лапой атлантозавра [22].

Меня отправили лечиться в онтэитный завод. Кажется, почти все заводы находились в ведении врачей. Завод, зеркальный и железный, стоял в горах, в хвойной чаще, у порогов Сортуа-Ту. Каменная плотина пересекала ущелье. Под стеклянным куполом, под ветром озона час или два в день я делал ритмические движения в бездумном и прекрасном напряжении тела. Пел переменный ток, тускло сверкали мчащиеся маховики, сухие искры поднимали волосы, щекотали спину. Для изготовления онтэита требовалось огромное количество энергии. Воздух, казалось, был насыщен ею... Впрочем, некоторые доказывали, что часть производимой онтэитом работы совершалась за счёт уменьшения центростремительной силы. В последнее время, помню, с этой целью были организованы новые измерения. Я пробовал вычислять, когда использование онтэита заметно отразится на космическом равновесии.

Врачи отпустили меня через месяц. Тогда, точно получив резерв для атаки, я снова кинулся в дым Аоа, в Мастерские Авторов.

И я победил. Я первый увидел, как плотный кусок вещества превратился в мелькающий вихрь светящихся точек. Я придумал способ следовать всем их бесчисленным движениям. Я научился наблюдать эфемерные, мимолётные явления, замедляя их, замедляя само время...

Конечно, я понял, что вовсе не разрешил проблемы, но большего я и не ждал. Атомные системы превратились в звёздные миры, в солнца,



окружённые планетами. И в их спектре, в первых же поспешных моих наблюдениях, я нашёл мелькнувшую линию хлорофилла [23].

Гелий вздрогнул.

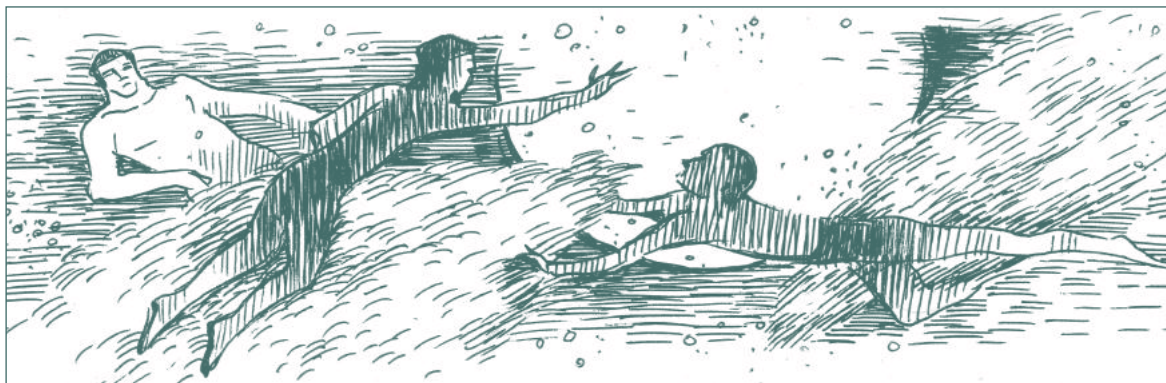
— Стало холодно, — сказал врач.

— Нет, другое, — продолжал Гелий. — Я улетел к Везилету. Он встретил меня беспокойной и ласковой насмешкой, но потом слушал много часов подряд. Слава моя росла, точно обвал. Меня избрали в Ороэ. Торжественный обряд должен был совершиться в ближайший день. Но мальчишеская моя грёза теперь меня не волновала. Время действительно нелепость. Можно прожить десять лет и сохраниться, как уродец в спирту, а можно стать совсем другим в несколько дней. Я вырос, я был безучастен к своему триумфу. Может быть, это было временное утомление, преходящее влияние бессонных ночей, листьев Аоа и напряжённой мысли, но я был склонен считать моё состояние тем конечным пунктом, куда приходит всякий разум. И странно, погибая от усталости, я в то же время испытывал мутящую пустоту наступившей бездеятельности...

У меня была бессонница. Я лежал в большом зале на мягком чёрном диване, и мои глаза были открыты. Я был один. Тишина ночи нарушалась только лёгким плеском струек воды, лившейся в углу из мраморного экрана. Она освещалась у своих истоков яркими сконцентрированными лучами всех цветов спектра, преломлявшимися в воде, словно каскады самоцветных камней. Я подумал о том, что мне надо уснуть, для этого следовало бы принять небольшую дозу яда, но мне не хотелось вставать. «Темнота лучше всего», — прошептал я, движением руки гася свет, сиявший в разноцветных струйках. Стало темно, но не совсем. Какая-то бледная тончайшая пыль наполнила воздух. Я оглянулся: свечение исходило от фосфоресцирующего шара, лежавшего в руке статуи Неатна... Я говорил об этом.

И вот у меня явилась мысль исследовать вещество шара в моей машине.





### III. НАХОДКА

— Ты говори тише. Я вижу, ты устаёшь. Говори просто.

— Да. Я лягу.

Митчель подвинулся, набросил на него шинель. Сукно было грязно, пропитано несмываемым злом мира.

— Представляешь ли ты смену моих переживаний? Всё, что я рассказывал, — это воспоминания Риэля. Теперь я хочу рассказать о том, что я видел на самом деле, в моём сне... Слушай!

Очарованный моей мыслью, я подошёл к машине, держа в руках светящийся шар. В черноте окна виднелось безлунное небо. Было темно, но высокие кипарисы — факелы мрака — всё же выделялись на Звёздном Пути. Маленькие метеориты иногда сгорали, мгновенно отражаясь в море. Вспыхнула зарница. Я включил ток в механизмы и, встав на каменный диск, заглянул в окуляр... Так я помню всё очень ясно.

Молекулы фосфоресцирующего вещества были сложны, как молекулы органических соединений. Они отражались на жемчужном экране вихрями звёздных скоплений. Я замедлил, вспомнив детское моё увлечение искусством сияющих цветов. Потом я уловил движения одной из частиц. Это была простая желтоватая звёздочка, и я оставил её, заинтересовавшись одной из планеток. Ось её вращения была наклонена к плоскости эклиптики, полушария то замерзали, то становились жёлтыми от зноя, как Паон.

Сердце моё нехорошо ударило. Я приблизил планетку. Стадо четвероногих, напоминавших антилоп, паслось на берегу ручья. Вдруг стадо исчезло, жёлтый хищник распластался в упругом прыжке...

Быстрое пламя наполняло мои жилы.





Я вспомнил, Везилет рассказывал мне о своих новых исследованиях явления мировой энтропии [24] и о своей любви ко всякой жизни, вступающей в неравную борьбу с этим грозным процессом обесценения энергии. И вот я увидел, что жизнь насыщает мёртвое вещество, повторяясь в однообразных формах. Арена мировой битвы расширяется беспредельно...

Жёлтый зверь начал пожирать свою добычу. Я отвернулся.

Что это! Мне вспомнились враждебные звуки четвероруких существ Паона. Предо мной были жалкие жилища, вроде тех, какие мы строили в делях. У самого большого шалаша плясали чёрные обезьяны, вооружённые длинными палками.

Я, кажется, вздрогнул. То были люди, почти люди!

Двое дикарей вышли из шалаша, и на их пиках я увидел мёртвые белые головы настоящих людей. Орава уродов вытащила нагую белую женщину. Чёрные самки зажгли костры. Жрец начал мистический танец...

Я спрыгнул, забегал по залу, радостный и оглушённый. Какое открытие могло сравниться с открытием Риэля!

Я снова подошёл к окуляру. Жрец слизал с ножа кровь. Я тронул кремольер.

Предо мной был город светлокожих. Если бы не снег, он напоминал бы города далёкого прошлого моей страны. Улицы, возникавшие столетиями, поразительное неравенство зданий, вагоны, движимые электричеством, передававшимся по проволоке, тяжёлые машины, четвероногие и нелепая толпа одетых, волосатых, безобразных людей — всё это я видел когда-то в стеклянных залах музеев Дворца Мечты.

Я видел поезда, катящиеся по железным рельсам силой перегретого пара. Из красных ящиков вылезали люди и тащили громадные сундуки и узлы, сгибаясь под их тяжестью. «Частная собственность», — сообразил я.

Следуя за движением этих поездов, я перевёл мой взор вглубь страны.

Белые дикари мало отличались от чёрных.

Я смотрел на снежный ландшафт. Седой лес, замёрзшие воды, гнилые деревни. Вот предо мной человек, одетый в шкуру барана. В одной руке человек несёт, размахивая, несколько убитых зверьков, другой тянет детёныша. Рядом понуро шагает телёнок. Они входят в жильё, и телёнок входит за ними. Внутри, на земле, лежит старик в шубе, в шапке и качает ногой люльку. Под люлькой, на сене, сука и выводок щенков.

Люди жили вместе с животными, как животные.

В одном месте при свете луны я увидел статую, воздвигнутую на пороге жёлтых песков: зверь с лицом человека. Я обратил внимание на толпы одинаково одетых мужчин, шагавших в ногу, возбуждённо горланивших и вооружённых длинными ружьями, оканчивавшимися ножами. То, что я увидел, совсем не согласовывалось с моим представлением о войнах.



Здесь не было ни подвижных армий, ни осаждённых городов, ни «героев». Здесь были осаждённые страны и вооружённые народы. В глубоких длинных ямах, вырытых параллельными рядами, на расстоянии большем, чем от Лоэ-Лэлё до Танабези, стояли люди и целились друг в друга. Я оценил высокое качество огнестрельного оружия и военных машин, применявшихся во враждебных армиях, каких никогда не было у нас...

То была скорее не война, а коллективно задуманное самоубийство. Я стал терять моё высокое равнодушие исследователя. Меня встряхивала перемежающаяся лихорадка странного возбуждения. Временами я стал забывать о себе, жить чужой жизнью... Так, вероятно, бывает, Митч, когда вместо того, чтобы лечить болезнь, ты заболеваешь сам.

— Да, — сказал врач.

— Боюсь, мои видения покажутся слишком обиденными, надоевшими. На трамвайном столбе медленно, как маятник дьявольских часов, качался чёрный труп повешенного. Город был мёртв. Только маленькие мохнатые хищники бегали по улицам, обнюхивая куски брошенных тканей. Кругом города шли такие же мёртвые изуродованные поля, словно земля в этом месте покрылась струпьями безобразной болезни. По ним бродили люди с красными значками на рукавах — символы могильщиков, вероятно, — и подбирали своих братьев — безликих, безголовых, безногих, жалкие комки запёкшейся грязи, бывшие когда-то людьми.

В грязевых гейзерах взрывов, в спутанных ключьях колючей проволоки, бетона и глины, где лишь угадывалась красная примесь, из траншей поползло длинное облако стелющегося дыма. Когда оно рассеялось, пространство, заключённое в поле моего зрения, напоминало кладбище солнцепоклонников. Мёртвых сменили живые, защищённые безобразными масками. И какие-то громадные машины медленно двинулись на них. Солдаты выползали из своих ям. Люди бежали и падали, становясь странно неподвижными. Вдруг широкий взрыв мгновенно разорвал одну из машин. Куда-то бросились солдаты с запрокинутыми головами, и лица их, быть может, мне показалось, были черны, как уголь. Они так и застыли в моей памяти, потому что с порывом шторма белое облако, словно погребальный саван, закрыло всю сцену. Внизу клубилась неровная поверхность лёгкой влаги; на её фоне простёр крылья примитивный летательный аппарат. Аэроплан сделал несколько кругов и, как птица, увидевшая добычу, нырнул вниз.

Я скоро заметил, что раскрывавшиеся предо мной события не были связаны обычным течением времени. Отражённые лучи микроскопического светила каким-то сложным процессом перерабатывались для моего восприятия. Но стоило мне сдвинуть лёгкий рычаг, и в мой глаз проникал уже другой ряд лучей, в моё сознание — другие впечатления, и я не всегда



мог определить, какие из них более ранние и какие поздние. Война — или, может быть, не война — повальная болезнь, алые язвы которой я видел в ограниченных полосах страшного мира, внезапно просочилась внутрь страны. Те же пятна войск расплывались по планете, отличаясь лишь едва заметными значками, и немедленно вступали в борьбу. Только приёмы были примитивнее и кровожаднее... Впрочем, всё это я видел... Пленники со связанными руками, которых под дикие танцы медленно топили в реках, пожары, внезапные порывы великодушия и потом ещё более глубокий мрак странных противоестественных страстей, какие может навеять лишь болезнь... Кто говорил мне об этом?.. В тропических странах Паона есть чудовищный вид муравьёв. Если разрезать экзemplяр этой породы на две части, то половинки, челюсти и жало начинают свирепо сражаться друг с другом. Так продолжается каждый раз, в течение получаса. Потом обе половинки умирают.

Я вспомнил океан, мерное дыхание волн, простое сердце стихий. У меня возникла жажда погрузить сознание в его космическую синь, но на равнине воды, как пятна сыпи, появились сотни больших военных судов. Вдали одиноко погибал брошенный корабль. Объятый пламенем и чёрным дымом, он медленно погружался в пропасть, и обезумевшие ослеплённые люди с разбега бросались в ледяные волны среди наступающей ночи. Двигались наглые щупальца прожекторов. И волны, отражая огни пожара, казались фантастической зыбью адских болот, где, как говорит великий поэт, вечно мелькают беспомощные руки отверженных, простираясь к пустому небу за несуществующим спасением и лоя только холодный воздух бездны...

Я зажжёт белый свет, чтобы проверить ясность моих восприятий. Всё было неизменно. Я приблизил планетку.

Было утро. В ореоле ледяных радуг вставало солнце. Под холмом сбились в кучу всадники и пехотинцы, плясавшие, как дервиши [25], чтобы согреться. О, я знал, какой это мороз, когда вместо одного солнца в небе кружатся пять! В такое утро я возвращался с берестяным ведёрком воды в нашу нору на Паоне, и мои пальцы, одетые в мех, стали неподвижными, как ледяные сосульки... Вдруг я заметил, что от кучи солдат отделился голый человек. Он шёл в степь, сжав на груди руки, с безумным лицом, прямо, не оглядываясь, точно автомат. Солдаты лениво посматривали ему вслед. Потом один из всадников лёгкой рысью поехал по тропе, намеченной в снегу босыми ногами. Когда расстояние между ними сократилось на три шага, всадник не спеша занёс высоко над головой изогнутую ледяную саблю. Страшный прорез вспыхнул наискось между плечом и шеей. Человек упал, но всё ещё



был жив. Тогда всадник снял с руки длинную пику, и я видел, как голая нога три раза беспомощно поднималась кверху при каждом нажиме.

Рядом, в чаще леса, стоял совсем старый солдат и молился. Я видел, у этого идолопоклонника не было никакой склонности к своей профессии. Что-то чуждое, какая-то противоестественная необходимость тяготела над ним. Двое других солдат, одетых иначе, подкрадывались к нему сзади. Я ждал, что враги только застрелят старика, но они не могли шуметь. Один из них быстро схватил его за горло — излюбленный приём этого мира — и опрокинул навзничь. Мгновение они боролись. Затем другой солдат равнодушно сунул в извивающееся тело свой нож. И они осторожно поползли дальше, озираясь, как хищники, и... и... также крестились!

Митч, ты, конечно, давно понял: я открыл нашу Землю, земное человечество! Сейчас-то меня мороз продирает, хоть я и вколачиваю себе, что это всего лишь отражение идей, повторявшихся со времени Бернулли [26]. Или с каких времён?.. Эти горы, эта гигантская река, эти океаны земли на восток и запад до обоих океанов, весь этот громадный мир, такой великий для нашего глаза, эти звёзды и тончайшая разорванная вуаль Млечного Пути, титанической аркой висящая над нами, все бездны, вся жизнь — только миниатюрный вихрь частиц в какой-то игрушке иного мира!.. А когда я был Риэлем, меня пугали маленькие красные пятна на белом снегу, то, о чём мы говорим в стихах.

Но вот у меня опять нехорошо здесь, и я думаю, разве не страшно, что мы привыкли? Разве ты не привык видеть убийство? Разве я не втыкал мой штык в человеческое мясо? Впрочем, какие там страхи!

Я, Риэль, думал. Огни, трупы, шествия, знамёна, смятые шелка, корабли, наполненные солдатами, взрывы, мёртвые страны и эта вездесущая красная ткань — кровь — только дикий вихрь, мчащийся меня в кошмарных сферах! Мне казалось — сейчас я сделаю последнее усилие и проснусь в лаборатории, занятый сложными вычислениями, своим обычным трудом. Я ещё ничего не достиг. Эта преходящая слабость навеяла мне дурной сон... Я помню, что закричал, но я был один, и никто меня не услышал в тот поздний час.

Я устал и беспорядочно перемещал поле зрения. Война продолжалась. Видения были неисчислимы, и я почти не думал о них, но несколько подавляющих картин встают предо мной ясно и неотступно, как эринии [27].

Тощие сумасшедшие женщины ломились, размахивая пустыми корзинами, в запертые двери, но женщины были слабы, и двери не открывались.

Огромная, выжженная зноем пустыня. И в ней только одно живое существо — человек. Он лежал неподвижно у маленькой норки и ждал с терпением больного.

Дальше!



Великолепная растительность покрыла побережье тёплого моря. Светлый поток пенился среди виноградников, плантаций табака, маслиновых и миндальных рощ и садов фруктовых деревьев. Лёгкие яхты проходили мимо мраморных дворцов, останавливаясь у многолюдных пристаней с кофейнями, базарами, лавочками. За чистым столиком сидели разноцветные женщины и мужчины в твёрдых ошейниках, ели пирожные, фрукты, жир и сахар, поглядывая на голых самок на пляже внизу. Здесь же, около группы изящных лёгких зданий, медленно копошились такие же голые существа, едва способные двигаться: они были слишком толсты. Несомненно, это была лечебница для ожиревших. Они лежали на солнце, вытапливая сало, и читали курьёзные бумажные газеты с десятками страниц. Один из них — белый и страшный урод — одолел, кажется, всё это огромное сочинение. Там, наряду с рисунками разных яств, я видел снимок с того света — с голодных у дверей. Толстяк прочёл газету, отложил в сторону и повернулся на другой бок. Он был спокоен... мистически спокоен!..

Страна моей Гонгури! Митч, ты докажешь мне, что это только сон, а вот Земля существует несомненно!

«Нет, — завыл я, — нет, я не покажу этого Везилету!»

Мне было стыдно, что в моей комнате я нашёл такую дрянь.

Я быстро встал и опять захотел выбросить Голубой Шар, ставший совсем тусклым при свете начинающегося дня, но мой взор скользнул по моей комнате, по различным обыкновенным предметам, и я быстро успокоился. Я даже улыбнулся. Так в детстве, после испуга, мы бросаем последний презрительный взгляд в тёмный угол, где вместо почудившегося призрака висело грязное бельё...

Я в последний раз взглянул на Землю. Внизу волновалось беспредельное поле злаков. Я смотрел на золотые волны, обещавшие новую жизнь, и мой мозг очищался от раздражения и невечных мыслей. Мне вспомнились другие волны, неизобразимое смятение текучих людских масс на улицах удивительного города, странно многолюдного центра среди пустынных северных равнин. Тогда я не понимал отдельных поступков, но общий смысл творимой жизни был мне ясен... Я знал судьбы этих порывов. Всё было открыто мне. Может быть, я заразился чем-то от Земли, но я уже без содрогания вспоминал алые пятна на белом снегу и радостные лица идущих мимо мёртвых. Иногда течёт много крови, иногда меньше. Прошли века, настало время другим расам плясать под скрипку мишурной смерти. Снова загорелись костры и запахло человеческим мясом. Но ураганы проходят. Являются гении. Мир становится прекрасным.

И вот я снова изнываю в своём величии и в своём ничтожестве! И предо мной неизменно везде одна и та же Бесконечность, грозная, как старинный бог...

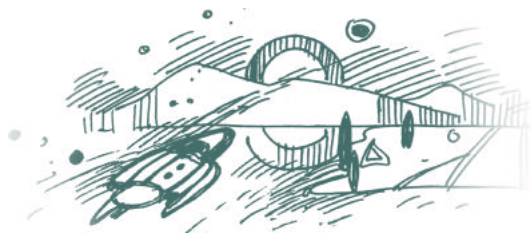


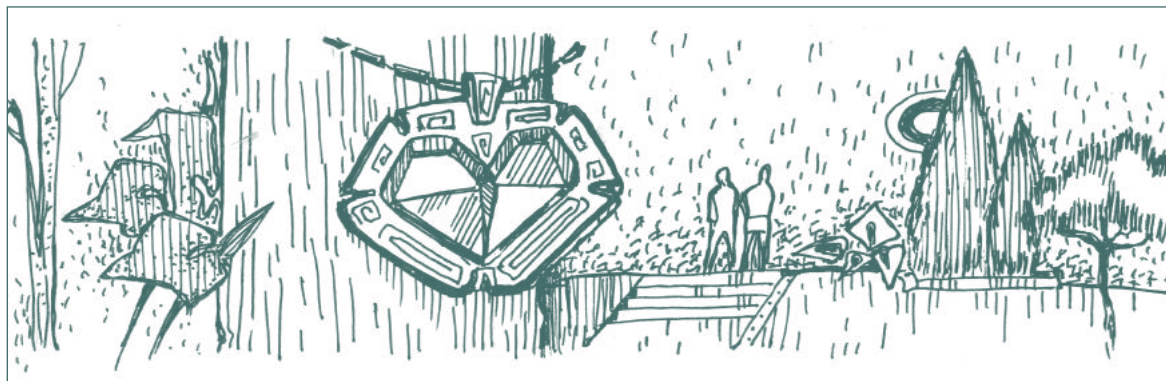
Жизнь! Вот целую ночь я жил другой жизнью, но разве она не «одна во всём», как говорит Везилет?

Я был царём и, томимый скукой, убивал проклинавших меня потому, что я был мудр и думал о величии, непонятном звериному народу. Я был рабом, и мне ничего не надо было, кроме маленького клочка пахотной земли, но воины царя врывались в мой дом, насиловали моих жён, уводили с собой, и я проходил тысячи мер, убивал и мучил, повинуюсь враждебной воле, и сам мучился от постоянного ужаса. Я был избранником народа и казнил деспотов и вождей черни, и толпа ликовала вокруг их виселиц. Я был преступником, мне вырывали ноздри и приковывали к огромному веслу, и я должен был двигать его взад и вперёд все дни моей жизни. Если я останавливался, плеть надсмотрщика врезалась в мою спину, и снова я напрягал разорванные мускулы, пока мой труп не выбрасывали в море.

И кем бы я ни был — убийцей или пророком, во мне осуществлялась одна и та же бесконечная жизнь. Иногда я возмущался против неё и не хотел играть роль, какую она мне предназначала, я уничтожал её, но всё-таки любил и ненавидел только те сердца, зловоние от разложения которых подобно аромату тяжёлых пахучих смол, в сравнении с тем, какое они распространяли, когда бились.

Женщина была на моём пути, и если я любил её, я был бесстрашен и побеждал всех... Миллионы лет сменяли миллионы, а жизнь, однообразная, как морские волны, и, как они же, неповторяющаяся, длилась стихийно, победно, безнадежно. Всегда, всегда я подчинялся ей, подчинялся даже в самой смерти, но теперь я устал и хочу знать, что же Я — смертный Ризель в её торжествующем бессмертии. Я хочу знать... Я хочу знать!





## IV. РУБИНОВОЕ СЕРДЦЕ

Врач подошёл к нарам, погладил горячий лоб юноши. Рука была горячей.

— Ты говори тише, — повторил он.

— Ничего, — потемнел Гелий. — Я скоро кончу. Чёрт, нет курева!

— Да, всё.

— Ну вот. Я рассматривал Землю... но лучевой поток солнца, яркий, желтоватый, тёплый, проник в комнату... Как хорошо! Я подошёл к окну.

Золотая вуаль волновалась в утренней влаге, и сквозь неё нежнее казались очертания зданий, залитых могучим ровным светом. Неясные туманы бесшумными лавинами катились с гор. Ветка вьющегося растения достигала моего окна. На ней качался, простираясь ко мне, единственный огромный белый цветок. В первый раз я испытывал радость от простой мысли, что живу в этом моём мире. Радость и гордость. Весёлые школьники, похожие на быстрых птиц, гонялись за большими платформами, несшими груз зелёных, жёлтых, оранжевых, красных плодов. Быстрые корабли, как лёгкие рыбы, плыли в лёгком океане неба. Я лёг и стал думать, что в этот день я пойду рука об руку с Гонгури, последней из Ороэ, в центральные залы Дворца Мечты. Так, мечтая, я понемногу погрузился в пылающие пятна памяти, в глазах замелькали изменчивые фосфены [28], словно мягкие цветные хлопья, и я утонул в них, теряя сознание.

И всё время мне снился громадный глаз, смотревший на меня из высшего пространства.

Чей-то весёлый голос звал меня.

Мне казалось, что это Нолла будит меня ранним утром среди сверкающих снегов Паона. Я открыл глаза. Солнце светило мне в лицо; на жемчужном экране смеялась Гонгури...



Обряд передачи Рубинового Сердца был древен, корни его врастали в религиозную магию Неатна, основателя «Союза Побеждающего Духа». В моё время, конечно, обряд был пронизан лишь эстетическим сознанием, бездумным и радостным. Каждый раз в его светлую форму вливалось новое творческое вино. Я отвык от людей, ночные видения меня истощили, но мне было хорошо здесь. Я рассказал Гонгури о своей любви и о нашей первой встрече над берегом моря.

Мы шли по зеркальной площади Дворца Мечты. Под ногами сияла отражённая голубая глубь, белые перистые облака вздымались внизу. И в центре, в бездну и небо, рос лучезарный Дворец. Он был построен в последний раз совсем недавно, в год моего рождения. Тогда здесь работал Рунут. Дворец был отлит из искусственного золота и золотистого топаза, он был стремителен и блестящ, как язык пламени, как солнечный протуберанец. Сквозь вибрацию воздушных волн на высоте 500 метров я видел статую такого же восходящего к свету юноши, как на берегу моря, только взор его был открыт и он не закрывал лица от солнца. Я помнил о жизни страшной планетки и всё не мог решить: сейчас мне сказать о ней или подождать? «Риэль! Риэль! Риэль!» — слышал я эхо толпы. Где-то высоко над нами скрестились колебания токов и запели, рассыпались страстным гимном Сторы.

Стора — девушка, отдавшая свою жизнь ради крупницы знания. Этот полуполюгендарный эпизод тоже связан с именем Неатна. Не помню, для чего ему понадобилось наблюдать живое бьющееся человеческое сердце. Стора согласилась на этот опыт и не перенесла его. С тех пор её имя стало торжественным символом и почитание её превратилось в культ...

Мы шли, наверное, полчаса по невидимой голубой глади; лёгкое и грандиозное здание заполнило мой кругозор. Я смотрел вниз и видел Дворец Мечты опрокинутым, как в телескопе. Сумрачный вход казался узким в лучевых вертикалях, но может быть, более ста человек в ряд вошли, не потеснившись, в громадное ограниченное пространство, где каждый звук замирал в отдалении. В голубоватом тумане, как вершины в голубой чистоте и свежести неба, растворялся зеркальный свод, и там ещё громче длился зов гимна. Везилет встал у ног статуи Сторы, поднимавшей к своду своё Рубиновое Сердце. Он говорил о красоте творческих стремлений, о том, как они зарождались на заре человечества, сначала случайными вспышками, сначала в играх дикаря или ради его жестоких нужд, и, наконец, разгорелись в пожар независимой страсти, приведшей нас к величию. Он говорил о страданиях, так хорошо известных всем нам — они были неисчислимы и всё-таки бессильны, — о желанных страданиях творчества и прославлял даже отречение от радостей жизни. Он говорил только давно знакомые фразы, но они звучали во мне, подобно гимну Сторы...





На чёрном камне мелькнули слова древней клятвы Неатна: «...если бы даже ангелы преградили вам путь — не смущайтесь, ибо истинно говорю вам, будете тогда как боги!»

Везилет опустил на мои плечи нить чёрных жемчужин с Рубиновым Сердцем, и потом все подходили ко мне и говорили о любви, наполняющей сознание...

Этот день был очень утомителен для меня. Я долго стоял перед экраном, меня хотели видеть во всех городах, я слушал длинные приветствия и говорил одно и то же, смотря на мелькавшие лица. Гонгури оставила меня. Тогда, в первый раз в эти годы, я вспомнил о Рунут, о Сэа, о светлом спокойствии Танабези. Я вызвал Рунут и попросил ждать меня в нашем старом саду, у зданий моей детской школы.

Я поднялся высоко и летел, омытый тёплыми жёсткими струями урагана, радуясь, что жизнь так далеко от меня. Я был болен. Мне казалось, что не онтэитный пояс, а хаос возносящих экстазов Сторы несёт меня в небе. За хребтом порфиновых гор Лоэ-Лэлё, на зелёном плоскогорье, у подкаменной речки, я увидел людской рой. В толпе поднимались десять громадных межпланетных кораблей. Я вернулся, но прежде чем передвинуть диафрагму изолятора на падение, я снял чёрный жемчуг с рубином. Внизу было торжество более громкое, чем избрание Ороэ, но я ничего не знал; в последнее время я совсем не слушал газет. Станный старик стоял на нижней лестнице и не говорил, а кричал, грозя кулаком в небо. И вся толпа была возбуждённой. Я спустился, спросил. Трое обернулись. Кто-то седой ответил, точно отмахнулся от насекомого: «Здесь не до мальчишек». Грубость всегда казалась мне удивительной, я взял человека за руку. Он обернулся снова, тоже удивился и вдруг засмеялся мне в лицо. От него запахло мутным и перегорелым. Он сказал:

— Война!

Кровь моя упала. Откуда он узнал о моих видениях? Кто-то из нас спит. Я дёрнул его, чтобы он очнулся. Вероятно, я заразился общим смятением. Сильный толчок отбросил меня в сторону. Несколько человек подлетели к нам.

— Что это, перепились?

Внезапно взвыли победные клики, я взглянул: корабли исчезали в небе. Я бросился вверх, так высоко, что стал задыхаться. Я был оглушён миром. В первый раз я подумал, что в школе Лоэ-Лэлё говорили правду.

Рунут встретил меня в аллее магнолий, у бассейна из яшмы и выющихся роз. Мы говорили о последних работах Рунут и о значении моего открытия. Пришла Сэа. Рунут, чтобы не беспокоить меня, сказал обо мне только ей. Сэа была прекрасна, но то была другая красота, чем Гонгури. Можно было любить кого угодно и в то же время чтить Сэа, как стихию. Она гово-



рила, что однажды пыталась увидеть меня, но Пейрироль, варвар, с ужасом заметил ей, что никого нельзя отвлекать от работы в лабораториях... Так мы болтали, любуясь, пока диск моего браслета не стал оранжевым — цвет восьмого часа. Сэа звала меня на великолепные игры, где будут мои прежние друзья, но я мог только обещать вернуться на следующий день.

Я спросил Рунут, не знает ли он о десяти кораблях, и увидел, что Рунут, как все, удивляется, что я не знаю. Я был болен, и мне всё казалось, что непредставимый глаз смотрит на меня и мою страну, как я смотрел на Землю. И потому меня мучило желание совершить нечто превосходящее все поступки мира трёх измерений, только что? — Я не знал и вот забывался.

— Ведь это же экспедиция Гэла, Риэль! — сказал Рунут.

Гэл! Я вспомнил. Значит — сегодня... Полтораста лет перед этим Тароге поднялся за пределы Солнечной системы, чтобы никогда не возвращаться. С ним было двадцать человек детей. Взрослых было всего трое: Тароге, инженер Ставант и жена его Лонэ. Потому что путь их должен был длиться более тридцати наших годов. «Победитель пространства» Тароге нёс нужное количество конденсированной энергии пищевых экстрактов, но если бы на планетах ближайшей звёздной системы не нашлось доступных условий для жизни, все должны были бы погибнуть. Тридцать лет! О них, об этой жизни в межзвёздной пустыне, были написаны поэмы... Я знаю, тебе будет очень интересна эта деталь: помнишь мои вирши — «Империализм Солнца»? Их свертели на сигарки в Саянах. Тема одна и та же...

Тароге нашёл планету, подобную нашей. Она получила имя: Генэри [29], в честь первого ребёнка, родившегося там. План Тароге был прост. Люди должны были размножиться, построить город, заводы, машины, наполнить истощённые конденсаторы энергией, и потом через столетие кто-нибудь должен был вернуться в Лоэ-Лэлё. Вокруг с одной стороны расстилалась огромная равнина, покрытая красноватой травой, в рост человека, наполненной бесчисленными существами, с другой, за небольшой речкой, начинался лес и вдали снежные непроходимые горы. Это была экваториальная полоса с ровным и тёплым климатом. Люди построили дом из обожжённой глины и посеяли хлеб. Жатва была обильной, но что могли сделать несколько человек на планете, в полтора раза превосходящей наш мир? Тогда Тароге начал поиски неведомого случая. Через год в плодородной долине, немного севернее тропика, генэрийцы встретили становиче темнокожих. Они знали богов, огонь и оружие. Новые белые боги взяли их детей и много молодых женщин, а мужчин заставили строить глиняные дома. Женщины рожали расу полубогов, ни белых, ни тёмных. Старые колдуны племён собрали совет и решили обмануть выходцев неба. В одну ночь они снялись и ушли в дебри со всеми людьми; но повелители настигли беглецов. С помощью чудес и смерти они подчинили их и вернули в прежний плен.



Через 60 лет в глиняном городе Тароге было более 300 человек, говоривших на языке Гонгури, и ещё больше детей, учившихся в настоящей школе. Доменная печь озарила заревом заросли Генэри, жидкий металл послушно стал принимать форму машин. Приближался день, когда старые конденсаторы победителя пространства должны были снова наполниться радием, но неожиданная опасность отдалила победу ещё на много лет.

Тароге умер от змеиного яда. Темнокожие рабы считали его вождём пришельцев. Один из туземцев, Умго, понял, что если ударить белого дубиной, он умрёт даже скорее, чем зверь. Этого нельзя было сделать только потому, что другой белый тотчас же направит смертельный огонь из трубки, которую всегда держит рукой в кармане. Умго ненавидел победителей. Его мысль была медленна и упорна. И вот однажды он исчез из города вместе с дюжиной других обученных дикарей. На этот раз их нельзя было найти, но через два года они появились с тысячами коричневых воинов соседних становий. Умго научил часть из них употреблять лук и деревянные стрелы, чтобы убивать невидимым из-за угла. Вокруг него объединились все ограбленные племена. Первыми погибли рабочие, копавшие руду в горах. Потом воины окружили школу и перебили полубелых детей. Женщины сбежались на их крик и потерялись в толпе. Когда генэрийцы сумели организованно пустить в ход оружие, половина их многолетнего труда была уничтожена или обесценена.

Умго не был убит. Он увёл племена в дебри и горы. С тех пор заросли стали непроходимыми. Пришлось строить укрепления и ввести боевые отряды для походов за рудой и охраны.

Война длилась более двадцати лет, прежде чем был закончен межпланетный двигатель, унёсший Гэла. И вот теперь город Лоэ-Лэлё построил десять победителей пространства, в пять раз превосходивших корабль Тароге, чтобы пополнить светлокожей расой и могучим оружием порядевшие ряды колонии Генэри.

Рунут помрачнел. Быстрые видения истощали ясность моей мысли. Я бормотал:

— Так вот почему старый пьяница крикнул мне сегодня противоестественное слово: «Война!» Вот почему у Гэла такое тёмное лицо и глаза слишком широко расставлены друг от друга!

Внезапно я почему-то вспомнил Голубой Шар, и ночные кошмары снова овладели мной.

— Что с тобой, Риэль? — спросил Рунут.

— Ах, — ответил я, — как бы мне хотелось явиться между ними и смести лучами смерти и тех и этих... и тех и этих! Я погружался в прошедшие века и в будущие, — всё становилось расчётливее, но убийств совершалось больше... О, как можно так быть! Как можно, когда всё это здесь, рядом, как можно...





Я взглянул на Рунут и вздрогнул. Это действительно было безумие.

— У тебя опасный бред, Риэль, — услышал я. — Нельзя безнаказанно в несколько лет молодости совершать работу целой жизни. Если бы ты остался у нас, ты не прятал бы своих мыслей, мы трудились бы вместе, и человечество приобрело идеи твоих изобретений и твои открытия закономерно и безболезненно, но в Лоэ-Лэлё, с её культами, празднествами, индивидуализмом и громадным гипнозом, ты был захвачен эгоистической страстью, более сильной, чем твоя воля. Ты мог бы стать таким же счастливым, как Сэа, и потом таким же, как я. А теперь разве ты счастлив?..

Рунут был прав, и я дал ему обещание, что я буду жить с ним, в Танабези. «Только не теперь», — добавил я невольно. Я рассказал о Гонгури. Рунут немного успокоился, но, вероятно, его надежда исчезла в тумане подсознательных тревог так же мгновенно, как моё тело, брошенное слишком резким движением в облака, озарённые пурпуром и киноварью заката.

Ждала ли меня Сэа, не знаю...

Может быть, я неверно передал впечатления этого вечера. Я думал о другом. Я вижу сквозь голубоватый дым гениев Ороэ за каменным столбом, в большом зале. Высоко, словно невидимые жаворонки, пели струны. Невидимые автоматы приносили нам розы и фрукты и сок Аоа. В зеркалах, в полированных геометрических поверхностях, отражались светящиеся шары — светильники, лёгкие, как воздух, бесшумно блуждавшие между нами. Голова Гонгури лежала на моём плече. Я знал — Гонгури меня любит. Я слушал Гэла. Он был силен и крепок, ему было более ста лет. Он жадно насыщался и, как все ограниченные люди, очутившиеся в центре великих событий, рассказывал громко и пространно о жизни на Генэри. Я видел... Умго, с лицом ночного человека, раздвигает папоротники, бесшумно, как рысь; Тароге, убийца и гений, обдумывает план глиняного города... И я ловил себя на смешном вычислении: во сколько раз скорость мысли превосходит скорость света?

Юноша-поэт, светлоглазый Акзас, влюблённый в Гонгури, подошёл к нам, улыбающийся, бледный. Акзас был одет в драгоценную ткань, и мы жалели его. Одежду носили только старые люди; молодым она назначалась эстетической комиссией, чтобы скрыть недостатки тела. Я услышал напряжённую декламацию, отрывок из той же старинной поэмы «Ад», которая вспоминалась мне, когда я смотрел на Землю.

Тогда настала тьма. Я ввержен был  
В холодное бескрайнее пространство,  
И пустота рвала мне грудь и душу;  
Осталось только тусклое страданье,  
Такое скучное, что показалось,



Мильоны долгих лет прошли, когда

Часы отметили одну секунду...

«Я это знал», — промолвил я с тоскою.

Быстрым взором памяти я развернул земные картины, и мне также показалось, что я прожил годы в ту изумительную ночь. Я спросил Гэла:

— А что, те новые люди, ушедшие сегодня на помощь, опять будут насиловать женщин и отнимать их детей?

Гэл засмеялся.

— Ты думал, — сказал он, — что жизнь — это только то, о чём говорят в школе?

Вот уже второй пьяный старик глупо оскорбил меня сегодня. Гнев непривычно сдавил мне скулы, я встал и сказал Акзасу:

— Молчите! Что ваши стихи? Хотите, я покажу вам настоящий ад?

Настала тишина. Гэл усмехнулся. Тогда я рассказал о странной породе человекообразных, найденных мной в голубом фосфоресцирующем шаре. Я не удержался и рассказал о многих земных видениях, за исключением слишком нестерпимо стыдных, и, наконец, заговорил о самом поразительном, о возможности великого Риэля иного мира, созерцающего нашу страну из непредставимых пространств. Те существа, быть может, настолько же превосходят нас, как мы карликов частицы Голубого Шара; может быть, они вовсе не зависят от стихий, может быть, они непосредственно обращаются друг с другом и обладают нечеловеческой способностью познавать сущность вещей...

Вдруг, рассекая мои тревоги, раздался радостный голос:

— Как это прекрасно!

Я замолчал, опустил плечи. Везилет заговорил о том, что поток жизни более безграничен, чем мы думали. С каждым взмахом маятника создаются, развиваются и умирают бесконечные бездны миров. Всегда и везде жизнь претворяет низшие, обесцененные формы энергии. Мир идёт не к мёртвому безразличному пространству, всемирной пустыне, где нет даже миражей лучшего будущего, а к накоплению высшей силы.

— И над всем главенствует мысль! Мы ещё не знаем её действительной силы. Может быть, она зажигает солнца!.. И вот Риэль открыл, что она вездесуща. Как это прекрасно!..

Я вспомнил цикл идей Везилета. Жизнь растёт. Мир оживает. Материя постепенно станет жизнью, а жизнь сознанием. Может быть, когда-то Вселенная была сознанием, ворвавшимся в звёздную туманность от неведомого творческого порыва. В юношеских своих стихах Везилет говорил о двух бескрайних сферах сознания, слившихся в любви. Так родился Мир. Не отсюда ли, не от неосознанной ли памяти уродливая идея Бога? Я смотрел на прекрасный лоб Везилета и видел жреца, слизывающего с широкого ножа



кровь. Это ведь тоже сознание. Оно казалось мне чёрным, поглощающим светлую мысль в странной интерференции [30]. Мысль! Можем ли мы ещё говорить о ней? К чему привели нас тысячелетние исследования психической энергии?.. Мне хотелось разбить доводы Везилета, я смог бы сказать так много, но я ощутил в себе большое безразличие и промолчал.

Прямые губы Акзаса, с лёгкой атавистической тенью, как у Марга, раздвинулись: «Я с нетерпением жду, Риэль!» Я знал, что он не был из числа Хранителей Тайн. Это меня волновало.

Гонгури, Везилет и ещё несколько человек последовали за нами.

Мы летели над Звёздной улицей. Огненные потоки извивались по контурам зданий, отражаясь в нижних зеркалах. Грани вершин Дворца Мечты бросали чистейшие лучи фиолетовой части спектра, такие мощные в своих элементарных тонах, каких нигде никогда не бывает в мире. Сияющие корабли отделялись от плоских крыш, поднимались, ускоряя полёт, реяли и мелькали, как метеоры. Низкий тембр огромной жизни едва касался сознания, и трудно было отличить, когда кончалась музыка лучей и начиналась музыка струн. На северо-западе, где поднимался Звёздный Путь, на горбе каменного мыса маячил силуэт дворца Лонуола. Дворец был покрыт светящимся веществом и горел ровным голубым светом, отражаясь в зыби океана, живой и воздушный, как сказочный дух. Гонгури держала меня за руку и тихонько импровизировала бессвязно:

Лоэ-Лэлё и Звёздный Путь.

Риэль, мы дети великанов.

Великий ветер океанов

Мне голову кладёт на грудь.

Риэль, забудь...

Риэль, забудь мираж экранов.

Лоэ-Лэлё и Звёздный Путь.

Ночные бризы океанов

Нам голову кладут на грудь.

Риэль — забудь...

Полёт!

Мы опустились в той самой комнате, где я начал свой день. С изменившимся лицом Везилет смотрел на статую мыслителя и на Голубой Шар, вырванный мною из его руки.

— Мозг Неатна! Риэль, неужели ты не знал?

Нет, я опять забыл. Память моя была перегружена слишком односторонне. Я вспомнил предостережение Рунут...

Умиравший Неатн, близкий к той черте, где бесконечность гениальности переходит в бесконечность безумия, велел своему ученику Дею [31] каким-то неведомым способом препарировать его мозг. Дей исполнил



желание своего учителя, и с тех пор мёртвая ткань засияла с непонятной постоянной силой.

— Мысль, электроны света. Мир... Мозг... непонятно... — забормотал врач.

— Что с тобой, Митч?

— Так. Это я говорил во время твоего сна. «Мир... мозг... непонятно...»

Мир — мозг Неатна!

Гелий побледнел.

— Ты хочешь сказать?..

Да... В этот момент я — Риэль — впервые проникся безнадежностью вставшей пред мной загадки: может быть, ничего не было, может быть, сон?

Везилет, волнуемый совсем особенным любопытством, поднялся к моей машине... И вдруг остановился, и все внезапно замерли и умолкли.

В окне стоял человек, одетый в простую одежду чёрного или скорее тёмно-серого цвета, откуда ещё резче выделялось его белое невиданное лицо. Он помедлил, взглянул нам в глаза, и его черты отразили спокойствие и рассеянность. Это был Лонуол. Он медленно поднял тонкую серебряную трость, раскалённую на конце током, и коснулся поверхности Голубого Шара. Изумительное вещество вспыхнуло огромным розоватым пламенем, и скоро от него остался только чад.

Когда я очнулся от гипноза, Лонуола уже не было. Некоторые части моей машины оказались испорченными, и наблюдения стали невозможны. Акзас подошёл ко мне и спросил заученным тоном: «Уверен ли ты, Риэль, что всё, о чём ты рассказывал, не приснилось тебе прошлой ночью? Вспомни, — ты очень утомлён...»

— Я думаю об этом, — ответил я.

Везилет бросил на меня короткий тревожный взгляд и подошёл к окну, где неподвижно стояла Гонгури, смотревшая на звёзды. У меня кружилась голова. Может быть, причиной нездоровья был чад, оставшийся после сгорания шара... И ещё всё время меня мучило представление, будто я вдохнул ту частицу газа, где находилась Земля. «Так что же мне сделать, что сделать?» Я старался воплотить какое-то смутное решение. Потом внезапно я увидел свет, подобный мысли Архимеда, когда он воскликнул: «Эврика!»

Я ушёл в мою любимую чёрную комнату. Её стены образовывали восемь углов, одна из них, с огромным окном, не была параллельна противоположной. В глубине со звоном падали светлые струйки воды, и блики света и звуки тонули в мягких поверхностях чёрной материи. Мраморные статуи в нишах казались летающими в темноте. Между ними качался тусклый диск маятника. В трёх плоскостях, на потолке и на противоположных стенах, заключались три зеркала. Я заглянул в их призрачные пространства и увидел там себя — странно изменившийся образ, ра-





достный, почти нечеловеческий. «С каждым взмахом маятника, — думал я — жизнь осуществляет своё назначение, и скоро я постигну его и постигну, что же я — Риэль — в этой смене существований». Я клялся жизнь свою отдать ради достижения истины и потому, подойдя к медленным часам, достал из ящичка, вделанного в них, заветный яд.

— Риэль! — позвала меня Гонгури.

Я спрятал драгоценное вещество и пошёл ей навстречу.

— Риэль, — говорила она, — ты нездоров, тебе надо принять лекарства и отдохнуть...

— Да, я очень устал, Гонгури, и я хочу большого покоя, — сказал я.

Мы подошли к окну.

— Ты видишь перед нами этот сад с тёмными силуэтами деревьев, дальше ты видишь горы и представляешь море и наш город, и более смутно — весь наш обширный мир с его великим человечеством, любовью, красотой... Выше! Скоро Лоэ-Лэлё превратится в неясное пятнышко, потом обрисуетя громадный контур нашей планеты... Дальше! Наш мир перестал существовать для нас. Мелькают звёздные системы, косматые туманности, остывшие солнца, и потом нас окружают большие провалы... Дальше! Звёзды сближаются в поле зрения, и скоро вся видимая Вселенная становится маленькой ограниченной кучкой яркой пыли. В отдалении появляется другая, третья, множество таких же звёздных скоплений. Мелькают миры, исчезают в перспективе, словно разнообразные предметы, когда быстро летишь невысоко над землёй и смотришь назад... Дальше! Звёзды наполняют видимое пространство, оно начинает казаться более плотным и, наконец, превращается в маленький шар, излучающий бледно-голубой свет... На мгновение мы теряем сознание и потом вспоминаем, что мы здесь, в Лоэ-Лэлё. Ничто не изменилось. Пред нами тот же сад, полный цветов, вдали горы, где-то должно быть море, дальше город и весь остальной неподвижный громадный мир... А вверху небосвод, полный знакомых звёзд, — тоже неподвижных... неподвижных для нас... я устал, Гонгури...

Она приласкала меня, и я думал: «Да, как это бессмысленно — мучиться из-за того, что всегда одинаково...»

Неизмеримость — прекрасна, потому что пред ней равны все пространственные величины, и вот любовь становится больше мира... Но как мне было сказать? Я не мыслил, я ощущал её. Это было пустое — щемящее, тошнотворное. Оно было во мне. Как это скажешь?.. «Человеку не дано последнего знания, и это прекрасно!» Я соглашался с Гонгури и думал: «Сейчас я проверю...»

— Забудь о своём сне, о своей страшной Земле, Риэль, — длилась далёкая речь. — Утром мы полетим с тобой вместе в поля, где растут лилии долин, и в рощи Аоа. Мы будем смотреть на радугу в брызгах водопада



и ловить голубых птиц. Потом мы войдём в мой корабль и улетим на острова Южного океана. Там, я знаю, в пустыне, есть одинокий атолл. Мы будем там одни. Долго...

— Да, — прошептал я.

Забываясь в ярких эдемах [32], мы сидели, обнявшись, на пушистой шкуре чёрного зверя. Иногда я начинал дрожать от странного волнения, и это беспокоило Гонгури.

— Пустяки, — сказал я, — бессонная ночь и усталость. Сейчас я приму успокаивающего лекарства, и всё пройдёт.

Тогда я вынул частицу пурпурового вещества и проглотил её. Потом выпил воды, и мне стало спокойно.

Мы говорили о красоте и величии жизни, о любви и цветах, растущих на великолепных склонах гор. Я ощущал, как постепенно безболезненно умирает моё тело, и, забываясь, уносился в сияющие выси. Скоро Гонгури заметила неестественный цвет моего лица и замедленное биение моего сердца. Она быстро осветила комнату и, взглянув мне в лицо, поняла всё.

Я закрыл глаза и лежал неподвижно.

Вдруг я услышал голос Ноллы и другие светлые голоса.

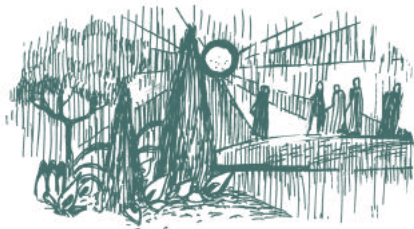
— Риэль, бедный Риэль, — говорила она, — мы не можем тебя взять с собой, потому что ты убил себя.

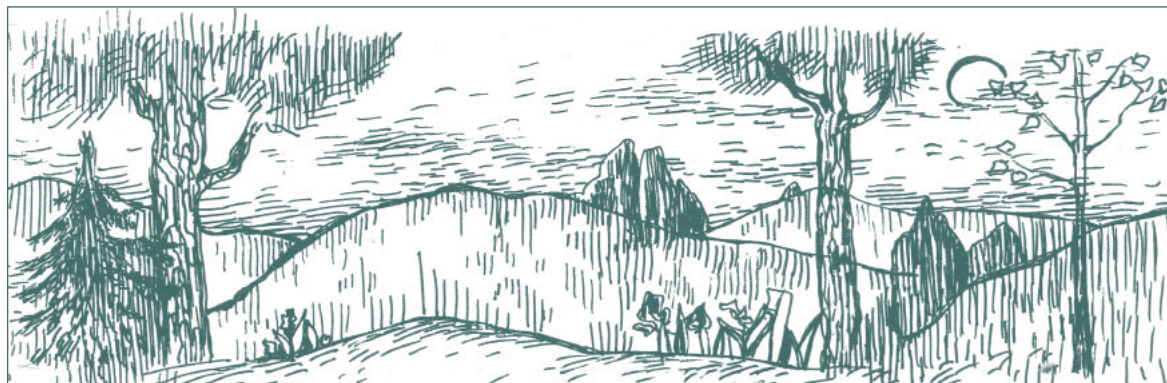
Внезапное смущение заставило меня в последний раз поднять веки.

— Риэль, бедный Риэль, — едва слышно повторял Везилет, — он не знает, что самоубийство не может раскрыть ни одной тайны.

Вдруг мне показалось, что это не Везилет, а Лонуол.

Я пытался ответить ему, но не мог и стремительно погружался в странное состояние сознательного небытия, полного мерцающего света и шума. Так длилось, вероятно, очень много времени, пока, наконец, ты не разбудил меня. И вот я здесь. Под окном ходит часовой. Тюрьма.





## У. КРАСНЫЕ ЛАНДЫШИ

Двое долго молчали. Гул мира выль в тишине черепа. Поздняя луна всплыла из-за соседнего корпуса, как будто вздрогнула, взглянув на землю, и медленно поплыла к зениту, побледнела и задумалась, как лицо Лонула.

— Одна десятиллионная миллиметра и десять миллионов световых годов одинаковы для мысли математика и воображения поэта. Гонгури права. Это прекрасно.

Гелий встал, шагнул не видя вперёд. Лунный свет нарисовал на стене чёрную решётку. Гелий очнулся. Кровь его встала на дыбы и тяжело грохнулась, как лошадь. Он вздрогнул.

— Мысль эта впервые была высказана, кажется...

— Мысль! Мысль! — забормотал Гелий. — Что такое мысль? Она вроде кори: рано или поздно, а придёт к человечеству. Но никто никогда... Да, Митч, я знаю: это сон. Я помню только то, о чём думал раньше. Почему я забыл такие простые вещи: как изготавливается онтэит, электрическое оружие? Я мог бы расплавить заповы, уничтожить тюремщиков, освободить человечество... Но я забыл! Сон, сон! Пальмы качают листьями на коралловых рифах, тёплые волны шелестят галькой, моя девочка потягивается от наслаждения, когда её распеленают, студенты идут за город, и у каждого из них есть лучшая из всех девушек... «И вот любовь становится больше мира», — говорит Гонгури. А я... Митч! Усыпи меня опять и вели запомнить всё, всё!.. Ну, ладно, ладно, знаю — невозможно, глупость, чертовщина, — но ведь теперь уж всё равно... Нет! Почему бы не предположить, что бессильное в яви сознание в гипнотическом трансе вдруг найдёт силы открыть выход? Вдруг потенциальная энергия мозга освободится сразу, в гениальном предвидении? Разве тоска моя — не сила, разве её мало, чтобы проломить какую-то кирпичную стену? Усыпи меня, Митч, прикажи точно запомнить, как с помощью обыкновенного тока приготовить онтэитный пояс и оружие. Может быть, нам удастся...



Старик обнял его и утешал беспомощно и ласково.

— Ты бы лёг... Ты ещё не спал... завтра.

В лунный луч спустился овальный паучок и застыл в бледном сиянии, словно туманность Андромеды. Сны Гелия помчались в большие провалы, в сияющие вихри, в электронные кольца. Паутинные нити и круги заплели небо, радужные нимбы и фосфены открылись в громадный глаз, смотревший на него из непредставимых бездн. Он проснулся. Сердце его билось безумно. Прямо в его лицо, как сверхъестественный глаз, смотрело жёлтое солнце.

Камера была полна людьми. Впереди стоял молодой чешский офицер, белобрысый, розовый, свежий. Рядом нерешительно мялся жирный джентльмен, одетый в однотонное хаки. В джентльмене без труда можно было узнать современную разновидность миссионера и филантропа. Комендант скомандовал встать.

— Это и есть большевики? — вполголоса спросил американец у своего переводчика и вдруг получил быстрый и насмешливый ответ на родном языке от грязного молодого арестанта, продолжавшего лежать на нарах.

— Да, они самые...

Последовал стереотипный удивлённый вопрос:

— Где вы учились по-английски?

— М-р Мередит! — воскликнул врач, вставая.

Американец застыл. Он вспотел, снял очки, протёр шёлковым платком цвета хаки круглые стёкла и надел снова. Ему обещали показать ту породу существ, что во всех журналах изображается в виде орангутанов... И вдруг его называют по имени! Это было хуже землетрясения.

— М-р Мередит, вы меня не узнаете? вспомните, однажды мне пришлось дежурить у вашей жизни.

— М-р Митчель! — хрипнул американец. Он не знал, что ему делать, но всё же протянул руку. — Господи благослови! Как вы сюда попали?

— М-р Мередит, я знаю, вы близки господину генеральному консулу, у меня есть к вам единственная просьба.

— Да, да, конечно, — ожил американец. — Я похлопочу за вас...

— Благодарю, мне не угрожает опасность; я говорю о нём. Это тот, о ком я говорил с вами в Штатах. Вы написали статью по поводу бомбардировки Реймского собора. Мне передавали также, что вы поместили в «Стейтсмене» интервью по поводу разрушения Красной гвардией памятников искусства в усадьбах русских бар. Вы должны думать, что сохранить художника важнее, чем предмет искусства. Храм, разрушенный варварами, может быть восстановлен, но кто скажет, что мы теряем со смертью молодого автора? М-р Мередит! Вы пользуетесь влиянием, вы должны спасти его... Иначе вы и вся ваша самодовольная нация только...

Старик закашлялся.



Гелий подошёл к нему.

— Зачем всё это, Митч?

Мередит растерянно бормотал своё: «ea, uea».

— Скажите ему, — обратился он к переводчику, кивая в сторону коменданта, — что они оба американские граждане, чтобы с ними обращались хорошо и т. д. и что я лично буду говорить со штабом.

Чех был хмур. У него была неудача с русской девушкой. В таких случаях на человека находит вдохновение. Вот прекрасный повод сорвать злость и отличиться! Он сообразил, от каких бесчисленных хлопот он избавит своё дипломатически настроенное начальство, если умело выведет красных в расход. Он галантно поклонился Мередиту, сказал, что ради него он немедленно переведёт арестантов на заимку для исправляющихся, около монастыря, на том самом берегу, который Фритьюф Нансен [33] назвал Северной Ривьерой.

Американец соображал, следует ли ему проститься, но, увлечённый солдатами, очутился в коридоре и махнул рукой. От дальнейшего обхода он отказался.

Через час чех вернулся в камеру озабоченный и сияющий от своего творческого подъёма.

— Собирайся! — сказал он Гелию.

— Куда?

— На заимку.

Гелий подошёл к своему другу, поцеловал его.

— Прощай, старина!

— Прощай! Нет, я пойду с тобой...

— Ну, — хлопнул себя по обмоткам английским стеклом чех, — ты в другой раз. Надзиратель легко отмахнулся от старого арестанта и захлопнул дверь.

Гелий пошёл впереди небольшого конвоя. Они быстро прошли пыльный город, пересекли линию железной дороги, пригород и стали подниматься по направлению к Сопке. Дорога шла среди свежего березняка, выше начиналось краснолесье. Гелий задумался, он вдыхал тёплый запах смолы.

Внизу, между зелёных гор, стремился голубой сказочный Енисей. Рядом вздымались кедры, в траве, у красных скал, росли неисчислимые ирисы, сарана и красные гроздья незнакомых цветов, называющихся в Сибири ландышами...

В красном бору, у Красного Яра, красные ландыши!

Как на экране своей машины, он ощутил, что шедшие за его спиной остановились, осторожно защёлкали затворами и зашептались быстрым чешским говором.

Синели дали.

Это было такое же сияющее утро, как в Лоэ-Лэлэ, когда он шёл рука об руку с Гонгури к Рубиновому Сердцу Сторы.



## ПРИМЕЧАНИЯ

1. **Страна Гонгури** – название, которое автор, возможно, заимствовал от наименования испанской поэтической школы XVII века – «гонгоризма», утверждавшей «культ чистой формы», отсутствие сюжета, усложнённая структура языка. Основателем школы был поэт Луис де Гонгора-и-Арготе.
2. **Гелий** – имя происходит от названия благородного инертного газа.
3. **Фата-моргана** – причудливый мираж.
4. **Семилетний сон Магомета**, во время которого основателю ислама явились откровения свыше.
5. **Экстатические импровизации** – в высшей степени творческое состояние.
6. **Моммзен** – Теодор Моммзен (1817–1903) – немецкий историк, специалист по истории Древнего Рима и римского права, лауреат Нобелевской премии 1902 года.
7. **Ганнибал, сын Гамилькара** – Ганнибал, Аннибал Барка (247–183 до н. э.) – полководец и государственный деятель Древнего Карфагена; Гамилькар Барка (?– 229 до н. э.) – карфагенский полководец и политический деятель.
8. **Нумидийцы** – жители древнего царства в восточной части современного Алжира (III в. до н. э.).
9. **Ассоциативные процессы** – взаимосвязанные, сочетающиеся между собой явления.
10. **Матросский салун** – общественное место, клуб, трактир, таверна в больших торговых портах.
11. **Фаренгейт Габриэль Даниэль** (1686–1736) – немецкий физик, предложивший шкалу измерения температуры из 180 частей-градусов, фаренгейтов. Согласно этой шкале вода тает при 32 °Ф и кипит при 212 °Ф.
12. **Лондон** – всемирно известный американский писатель Джон Гриффит (1876–1916), публиковавшийся под псевдонимом Джек Лондон, один из основателей пролетарской литературы на Западе.
13. **Танабези** – возможно, по аналогии с Танаисом, греческим городом-портом на месте нынешнего Азова на правом берегу реки Дон. В то время Дон назывался также Танаисом.
14. **...атавистическим пушком** – наследственным.
15. **...в экстазе созерцания...** – высшей степени восторга.
16. **Радий** – радиоактивный элемент II группы периодической системы Д. И. Менделеева, открыт в 1898 году. Явление радиоактивности обнаружил А. Беккерель в 1896 году.
17. **...гипертрофированные розовые кусты...** – ненормально больших размеров.
18. **Телеология** – идеалистическое учение, согласно которому мир создан «ради целей человека».
19. **Мадригалы** – песни на родном (материнском) языке, светский музыкальный поэтический жанр эпохи Возрождения. Истоки мадригала восходят к народной поэзии и старинной итальянской пастушеской песне. Мадригалы писали и русские поэты К. Н. Батюшков, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов.
20. **Шаманская магия** – ранняя форма религии первобытного общества, при отправлении которой служитель культа в экстазе якобы общался с духами и с их помощью исцелял больных, советовал, гадал.
21. **Берлиоз Гектор** (1803–1869) – выдающийся французский композитор, дирижёр, музыкант, писатель, автор «Фантастической симфонии» и других всемирно известных произведений. Высоко ценил русскую музыку, творчество М. И. Глинки.



22. **Атлантозавр** – очень крупное пресмыкающееся второй половины мезозойской эры из группы динозавров с длинной шеей и хвостом и очень маленькой головой.
23. **Хлорофилл** – зелёный пигмент растений, с помощью которого они улавливают энергию солнца и осуществляют фотосинтез.
24. **Энтропия** – поворот, превращение.
25. **Дервиши** – нищие.
26. **...во времена Бернулли...** – имеется в виду время жизни семьи швейцарских учёных-математиков Бернулли: Якоба, Иоганна, Даниила, живших в XVII–XVIII вв., – авторов известных «схемы, теоремы, уравнений, чисел Бернулли».
27. **Эринии** – в древнегреческой мифологии подземные богини кровной мести, рождённые богиней земли Геей от капля крови Урана.
28. **Фосфены** – зрительные ощущения, возникающие под воздействием света на глаз человека.
29. **Генэри** – возможно, от слова «генерировать» – рождать.
30. **Интерференция** – взаимное ударение, взаимовлияние, сложение.
31. **Дей** – возможно, от деизма – религиозно-философского воззрения эпохи Возрождения, согласно которому Бог, сотворив мир, не вмешивается в его жизнь.
32. **...в ярких эдемах...** – в библейской мифологии это земной рай, где жили Адам и Ева до грехопадения. В переносном смысле – страна вечного блаженства и наслаждения.
33. **Фритьоф Нансен** (1861–1930) – норвежский путешественник, океанограф, общественный деятель, почётный член Петербургской Академии наук, один из организаторов помощи голодающим Поволжья в 1923 году, лауреат Нобелевской премии мира 1922 года за гуманную деятельность.

#### СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- Астафьев В.П. Пророк в своём отечестве (о повести В.Зазубрина «Щепка») // Собрание сочинений в 15 томах. Т.12. – Красноярск: Офсет, 1998.
- Бушков А. Страна Гонгури (предисловие в книге В.Итина). – Абакан, 1982.
- Горький М. Полное собрание сочинений. Художественные произведения в 25-ти т. Т. 19. — М.: Наука, 1973. С. 179.
- Горшенин А. Он был искателем чудес (Романтик Вивиан Итин) // Очерки русской литературы Сибири в 2 т. – Новосибирск, 1982. – Т. 2.
- Итин В. Автобиографическая справка. // ГАНО, п-6, оп. 2, д. 1295, л. 32 об.
- Итин В. Стихи 1912-1937 гг. — Минск, Книгосбор, 2007. С. 55-56.
- Итин В. Страна Гонгури. Канск: Госиздат РСФСР, 1922 г.
- Кубатиева Н. Аэлита, Гонгури и другие // Сибирские огни, 1984. – №9.
- Мостков Ю. Один из первых огнелюбов. // Ю. Мостков. Портреты. – Новосибирск, 1981.
- Надымов Н. Завоевание энергии (о творчестве Вивиана Итина) // Сибирские огни, 1934. – №2.
- Рейснер Л. Избранное. — М.: Художественная литература, 1965. С. 100, 104, 106-107.
- Яранцев В. Вивиан Итин. Гражданин Страны Гонгури // Мосты, № 45, 2015.
- Яранцев В. «Вот и пойми, что за человек был Зазубрин!..» // День и ночь, 2010. - №3.

## СОДЕРЖАНИЕ

Об авторах .....	5
Сплав двух миров. М. М. Стрельцов .....	7
<b>В. ЗАЗУБРИН. ЩЕПКА</b> .....	13
<b>В. ИТИН. СТРАНА ГОНГУРИ</b> .....	83
I. Машина времени .....	84
II. Страна Гонгури .....	91
III. Находка .....	104
IV. Рубиновое Сердце .....	111
V. Красные ландыши .....	123
Примечания .....	126
Список использованной литературы .....	127

В. Я. Зазубрин

### **Щепка**

*Повесть*

В. А. Итин

### **Страна Гонгури**

*Повесть*

Художник Евгения Аблязова

Корректор Елена Уварова

Верстка: Сергей Лебедев

Подписано в печать 01.09.2016 г.

Формат 74x100/12. Объем 14,62 усл. п. л.

Печать офсетная. Бумага офсетная.

Тираж 1150 экз. Заказ № 257.

Изготовлено в ООО ИД «Класс Плюс»

г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 65, строение 23

info@kass24.ru